

ДМИТРИЙ КЕДРИН

И минуло
время





•
**В МОЛОДЫЕ
ГОДЫ**

*ДМИТРИЙ
КЕДРИН*



И минуло
время



МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1989

ББК 84Р7
К 33

Вступительная статья Н. В. БАННИКОВА.
Составление и примечания С. Д. КЕДРИНОЙ.

К $\frac{4702010202-069}{078(02)-89}$ 208-89

© Издательство
«Молодая
гвардия»,
1989 г.

ISBN 5-235-00532-5

ДМИТРИЙ КЕДРИН

Ныне трудно найти человека, любящего поэзию, который не знал бы стихов о русских крестьянках с гордыми лбами винчианских мадонн, о зодчих, возводивших при Грозном храм Покрова, о бедной, запуганной девочке и кукле, о поэтах с их скверной привычкой — «в круг сойдясь, оплевывать друг друга». Почти каждый, кто хоть чуть-чуть разбирается в огромной карте советской поэзии, назовет и имя автора их — Дмитрия Кедрина. Тысячи и тысячи читателей любят кедринский голос в поэзии — проникновенный, умный, неторопливый, очень искренний и сердечный. Любят его тонко выбранные, чистые, как у старинных мастеров живописи, краски, любят его умение вводить и строить в стихах сюжет и придавать многим своим стихотворным рассказам дух и облик легенды, где зачастую с полной властью звучит глубокая мысль, поэтическое обобщение. Читатель явственно чувствует в кедринских стихотворениях и горькую ноту иронии, и мягкий, еле приметный юморок, а главное — чувствует светлую душу поэта, полную ласкового внимания к человеку и навек плененную красотой родины.

Если взять тематику Дмитрия Кедрина, основные, магистральные мотивы его стихов, то можно сказать, что он прошел типичный для поэтов тридцатых и первой половины сороковых годов нашего века литературный путь. В мощной и обильной сильными талантами советской поэзии тех лет было нелегко проторить свою собственную тропу, найти свой стиль и краски, нелегко выделиться. На стороне Кедрина была беспредельная преданность поэтическому слову, упорная, терпеливая работа, неброское на первый взгляд, но глубоко органичное творческое дарование. Медленно, но верно входил он в литературу, хотя судьба отнюдь не баловала его. В архивах хранится немало издательских рецензий, в которых поэта осыпали необоснованными, часто вздорными упреками.

В 1940 году вышла его первая и единственная книжка —

«Свидетели», которая включала всего шестнадцать стихотворений. Большинство стихов Кедрина осталось при его жизни неопубликованным. Лишь после смерти поэта творчество и само его имя было донесено до широких читательских масс.

Дмитрий Кедрин родился в 1907 году в Донбассе, на руднике Богодуховском (ныне Донецк). Детство у него было тяжелое, он рано осиротел. Воспитывали его бабушка по матери и тетка, сестра матери. Подростком он стал учиться в коммерческом училище, а затем в техникуме путей сообщения. Но уже в 1924 году, будучи студентом техникума, Кедрин начал работать в редакции комсомольской газеты «Грядущая смена» в Екатеринославе и навсегда связал свою жизнь с печатным словом, с поэзией. В Екатеринославе, где Кедрин жил в то время, существовала литературная группа «Молодая кузница»; участники ее — молодежь, комсомольцы — следовали примеру столичных поэтов, создателей известной в истории советской литературы «Кузницы», писали романтические, чуть риторичные стихи, воспевая октябрьскую новь, свободный труд, боевую рабочую поступь. Писал и публиковал в «Молодой кузнице» стихи и Дмитрий Кедрин. Юных стихотворцев воодушевляло и то обстоятельство, что к тому времени уехали в Москву и заняли заметное место в советской поэзии несколько комсомольских поэтов, начинавших свой литературный путь тоже в Екатеринославе, позже переименованном в Днепропетровск, — Михаил Голодный, Михаил Светлов, Александр Ясный.

Ранние стихи Дмитрия Кедрина мало чем выделялись из общего поэтического потока тех лет. Юноша овладевал настоящим мастерством, искал и нащупывал свою собственную манеру, свою поэтическую интонацию. Влияние больших поэтов той поры — Есенина, Багрицкого, Тихонова — нет-нет да и сказывалось в его стихотворениях. Дважды на памяти Кедрина приезжал в Днепропетровск Маяковский: среди начинающих литераторов его выступления производили огромное впечатление. В свои двадцать лет Кедрин пишет очень много, учится у классиков, у Бунина, у Ходасевича. Среди его стихотворений той ранней поры встречаются наброски своеобразных баллад, в которых можно увидеть зерна и прообразы будущих его замечательных поэмов на исторические темы. Назовем хотя бы такие стихи, говорящие о давних временах, об истории

народа, как «Мастер», «Зимний вечер», «Гравюра», «Вздохмаченный, невымытый и седой...». Помеченные 1927 годом, они впервые печатаются в нашей книжке. Желая найти поддержку в своих поэтических исканиях, Кедрин в 1928 году посылает эти стихи на отзыв в Крым, в Коктебель, Максимилиану Волошину, в бумагах которого они только и сохранились.

Но это была не единственная тропинка в творчестве юного поэта. Кедринские стихи тех лет, взятые в их совокупности, отнюдь не несли на себе архивной пыли, не были книжными, навеянными только чтением каких-то образцов: молодой поэт стремился воплотить в своих строках кипучую советскую действительность, ее пульс, ее животрепещущую тематику. Корреспондентская газетная работа прочно связывала его с заводом, с рабочей молодежью, вовлекала в сферу народного труда и быта. Многие стихотворения Дмитрия Кедрина в двадцатых годах были напечатаны уже и в Москве — в журнале «Прожектор», в «Комсомольской правде». А в 1931 году поэт переезжает в столицу. Он устраивается сотрудником многотиражки Мытищинского вагонного завода, живет с семьей в селе Черкизове по Северной железной дороге, где Дмитрию Кедрину дали комнату в заводском общежитии.

Работа на заводе вновь смыкала поэта с рабочей средой, с интересами производственного коллектива, а литературная Москва, расширяя его кругозор, дарила Кедрину встречами с выдающимися поэтами, в частности, с Эдуардом Багрицким, который со всей своей доброжелательностью следил за творческим развитием Кедрина, видя в нем талантливого человека. Багрицкий вел работу по подготовке первой книги стихов Дмитрия Кедрина, собираясь выступить ее редактором, но неожиданная смерть Эдуарда Георгиевича сорвала эти планы. Чрезвычайно скромный по натуре, застенчивый Дмитрий Кедрин довольствуется в своей жизни малым, существуя на скудные заработки, и все же не теряет присутствия духа от неудач. Он по-юношески верит в поэзию и отдает ей все силы, все свободное время. С 1934 по 1945 год (исключая время пребывания в Действующей армии), оставив мытищинскую многотиражку, он работает внештатным редактором Гослитиздата, состоит литературным консультантом в издательстве «Молодая гвардия». Есть еще здравствующие ныне поэты, кто помнит его самоот-

взрешенную деятельность на этих неприметных постах, рассказывает о его большой профессиональной взыскательности и редкостной доброте. Постоянно погруженный в творческие раздумья, он вынашивал и неторопливо вписывал в свои тетради все новые стихи. За предвоенное десятилетие (1931—1941) Дмитрий Кедрин сложился как самобытный и крупный поэт и создал большинство лучших вещей, опубликовал и «Зодчих» и «Рембрандта». Но достичь какого-то резкого перелома в своей судьбе, признания или популярности ему в те годы не удалось.

Этот худенький, в очках с толстыми стеклами, с копной каштановых волнистых волос, всегда задумчивый, стеснительный и непрактичный человек встретил 22 июня 1941 года на той же скромной работе литературного консультанта. Он был «белобилетник»; из-за сильной близорукости в армию его не брали. Горечь наших военных поражений, наступление гитлеровских полчищ на Москву он переживал трагически остро. В начале декабря в течение нескольких дней враг от Черкизова — там по-прежнему жил Кедрин с семьей, с двумя малыми детьми — был на расстоянии всего восемнадцати-двадцати километров; уже доносился со стороны Клязьминского водохранилища звук орудийных выстрелов. Обстановка была очень напряженной. Эвакуироваться Кедрин не стал. Переноса все невзгоды суровой военной поры, он не оставляет пера. Болью и гневом напоены его стихи осени 1941 года. Скоро их набралось на целую книжку, но издать ее не пришлось! Как из сказочной золоченой шкатулки извлекались впоследствии эти великолепные, полные глубоких раздумий и тонких красок стихотворения и понемногу печатались уже спустя долгое время после смерти поэта. Кедрин настойчиво добивался отправки на фронт. В мае 1943 года, после долгих хлопот, он уезжает на Северо-Западный фронт и работает в газете 6-й Воздушной армии «Сокол Родины» в качестве поэта. Боевая обстановка и жизнь бок о бок с советскими летчиками («...это особый, очень спокойный и очень героический народ», — писал о них с фронта жене Кедрин) взбудрила поэта, встряхнула его. Он трудился в боевой газете, давая все, что тогда требовалось, — от передовой статьи и листовки для партизан до частушки-четверостишия. Нашел свое применение и скрытый доселе юмор Кедрина: многие его фронтовые сатирические

стихотворения написаны мастерски. Все, что пережил и выносил в своей душе Кедрин с июня 1941 года — думы о родине, о ее красоте, о ее мужественных и отважных людях, о детях и женщинах, о белорусских, украинских и русских девушках, угнанных в немецкий плен, о святой материнской любви, — все это вылилось в его фронтовых стихах, то наскоро набросанных, то отделанных и отточенных до последней строчки. И трудно сказать, чего было в этих стихах больше: кедринской проникновенной лирики, эпоса или каленых сатирических стрел. Дмитрий Кедрин нашел свое место в боевом строю советского народа, хотя ему и не довелось пробыть в армии до Дня Победы.

Горьковское гуманистическое начало пронизывает поэзию Кедрина. С Горьким связан и знаменательный случай, когда имя Дмитрия Кедрина впервые привлекло к себе живое внимание большого круга советских писателей. В ноябре 1932 года в квартире Горького, в Москве, на Малой Никитской, происходила встреча мастеров литературы с руководителями партии и правительства. Алексей Максимович попросил тогда поэта Владимира Луговского огласить стихотворение Кедрина «Кукла». «Он мне сунул в руку напечатанные на машинке листки и сказал: «Читайте, да получше!» — рассказывал Луговской. Горького взволновало это стихотворение, оно оказалось ему близким многими аспектами. Ведь в нем было выражено и острое столкновение старого, затхлого, варварского быта с новым веком, и боль за женские судьбы, за растоптанные детские души. Автор рассказа «Страсти-мордасти» сразу это почувствовал. Кедрина на встрече у Горького не было. Но через два года, накануне I съезда писателей, Алексей Максимович посетил выставку книг советской художественной литературы в Центральном парке культуры и отдыха. Среди сопровождавших его работников выставки был и экскурсовод Дмитрий Кедрин. Он не слышал тогда, как отозвался Горький о его «Кукле» (ему рассказали об этом лишь в 1940 году), и по скромности не представился писателю, не назвал себя. Так их знакомство и не состоялось. Осталась только случайная фотография, где в группе людей близ Горького запечатлен и Кедрин.

«Кукла» — чисто кедринское стихотворение по духовной устремленности, по ритмам. Однако саму по себе ту контрастную

картину, какая в нем нарисована, мог бы создать и другой поэт, хотя бы сверстник Кедрина Ярослав Смеляков. Но лишь Кедрину был свойствен пунктиром намеченный в «Кукле» особый угол зрения: провозглашение красоты как движущей жизненной силы, как основы благотворного человеческого деяния. Детская игрушка, кукла в кедринском стихотворении — не только символ наступающей светлой для народа эры, но и знак красоты, как ее понимал поэт. По сути, о красоте писал он и в «Зодчих», и в поэме «Конь», а свое заветное, можно сказать, программное стихотворение 1942 года так дерзостно и озаглавил — «Красота».

Чуть ли не стержневую линию в поэзии Дмитрия Кедрина составляют стихотворения и поэмы на исторические сюжеты. К исторической теме Кедрин пришел не сразу, она вплеталась в его стихи исподволь и громко зазвучала лишь в зрелую пору творчества поэта, в середине тридцатых годов. Это были годы, когда и наша историческая наука, и художественная литература, освещающая прошлое, приобрели особый размах. Именно тогда появились серьезные труды по отечественной истории таких ученых, как Б. Д. Греков, С. В. Бахрушин, К. В. Базилович, В. В. Мавродин, М. В. Нечкина. Исторической теме служило и перо многих художников слова. Блистательный роман А. Толстого «Петр Первый», книги О. Форш и Ю. Тынянова, А. Чапыгина и С. Сергеева-Ценского, В. Шишкова и В. Яна стали значительными вехами развития советской литературы, вошли в ее золотой фонд. Потенциальная угроза военного столкновения с фашизмом, которую тогда ощущали все советские люди, обостряла интерес к прошлому, в нем искали и находили традиции героизма и нравственной стойкости. История обретала в нашем обществе роль большой идейной силы. Советская поэзия не могла уклониться от этого зова времени. Рядом со стихами и поэмами об Октябре, о гражданской войне, рядом с историко-революционной темой утверждала себя и тема становления русского национального характера, тема наследия, тема взаимосвязи прошлого с настоящим, тема боевых героических начал в истории народа. Вместе с Ильей Сельвинским, Леонидом Мартыновым и юным тогда Константином Симоновым Дмитрий Кедрин был одним из первопроходцев этой темы в поэзии тридцатых годов. Уже в «Зодчих», опубликованных в 1938 году, он выступил

как большой мастер исторического повествования. А за «Зодчими» шел целый цикл исторических вещей — «Пирамида», «Свадьба», поэма о Федоре Коне, «Песня про Алену-Старицу», превосходный отрывок «Сводня» из неоконченного романа в стихах о Пушкине, драма «Рембрандт». В годы войны эта «сюита» была дополнена великолепным «Набегом», балладой о князе Васильке Ростовском, поэмой о Ермаке.

Русь, русский человек — созидатель и воин, защитник своей земли, русский человек — бунтарь и гроза угнетателей — вот о чем всего охотнее писал Кедрин в этих стихах. Кедрин был влюблен в старинную русскую архитектуру — одно из мировых творческих достижений нашего народа, — влюблен в язык летописей и сказаний, в русскую народную песню, в напевы украинских думок, в искусство безвестных мастеров-умельцев. По отзвукам легенд, по скудным упоминаниям летописей — ведь книжники-чернецы писали чаще о святителях и пустынножителях, о князьях и боярах, чем об изографах и строителях, — Кедрин воссоздавал проникновенные образы одаренных беспокойным духом исканий творцов красоты. Эта линия его поэзии была очень близка мыслям Горького о фольклорной основе литературы, о творчестве безымянных народных мастеров как почве всего мирового искусства. Русские мастера, возводившие кремли, крепости и храмы, иногда отпечатывали на непросохшем кирпиче отпечаток своей ладони — недавно такая «печать» XV века была открыта при ремонте Боровицкой башни Кремля, — но имена их оставались в памяти потомков, в истории весьма редко. А эти люди творили поистине чудеса! Скудны, отрывочны сведения и о Федоре Коне, строившем Белый город в Москве и частично дошедшие до нас стены Смоленска. Кедринский Федор Конь — неукротимый художник, талант, ищущий любой возможности приложить свои силы к делу, чтобы украсить родную землю, бесконечно ему дорогую. Как он тоскует по Руси, находясь в итальянских городах! Какими тончайшими любовными штрихами рисует Кедрин русскую народную жизнь и русский пейзаж, которые сняты на чужбине Федору! Читая эти строфы «Коня», поневоле думаешь, сколько жара души отдавал героям своих поэм и сказаний поэт-патриот, как перекликается его лирика, где почти всегда есть и картины русской природы, и зримые черты на-

шей страны, с чувствами выведенных им персонажей, отдаленных от нас столетиями. Личное пристрастие, авторское чувство, его теплота по-особому окрашивают кедринские исторические поэмы.

В кедринских «Зодчих», основанных скорей на легенде, чем на документальных данных, удивительно хороша и композиция стихотворения-поэмы, и ее ритм, и скуповатые, но точно найденные, всегда чуткие эпитеты, краски. Но не менее замечательно и чеканное словесное искусство поэта, с каким он описывает самый труд строителей храма:

**Мастера выплетали
Узоры из каменных кружев,
Выводили столбы
И, работой своею горды,
Купол золотом жгли,
Кровли крыли лазурью снаружи
И в свинцовые рамы
Вставляли чешуйки слюды.**

Резкими мазками показывал Дмитрий Кедрин трагический характер судеб своих героев. Ужасающий гнет власть имущих, вся вопиющая несправедливость и жестокость феодальных классовых установлений без всяких оговорок обнажена и показана в исторической сюите Кедрина. И все же главная мысль, главный тезис, ради которого творит и работает автор, — это показать одаренность русского народа, чувство его внутренней независимости, негибкости, его нравственное здоровье. Ныне приходится только сожалеть о том, что большинство исторических поэм Кедрина — семь из десяти — не были напечатаны при его жизни, а часть произведений, например, стихотворная драма об известной крепостной актрисе Параше Жемчуговой, утрачена навсегда в треволнениях военного времени.

Как и многим русским поэтам, Дмитрию Кедрину присуща широта поэтических горизонтов, широта видения. Русь не была его единственной эпической темой. Он хорошо чувствовал обаяние языков и искусства всего славянского круга народов, а его пристрастие к украинским сюжетам, к украинскому фольклору читатель заметит и по этой книжке — недаром вся юность поэта прошла на Днепре. Очень колоритен и восточный цикл стихотворе-

ний Кедрина — «Приданое», «Кофейня». У них особый тон, особая интонация, навеянная страницами книг Фирдоуси, Саади, Хайяма. И рядом с Русью, с Украиной, с Востоком — дерзкий порыв Кедрина в историю Запада, к жизни великого голландского живописца Рембрандта. В драме «Рембрандт» заново отозвались все важнейшие мысли поэта о природе искусства, о миссии художника. Мир узколобых голландских буржуа самым контрастным образом противопоставлен могучему мастеру кисти, а народные, демократические корни его натуры и его артистического сознания освещены до предела ясно. И вновь перед нашим взором встает трагическая судьба творца красоты, чем-то похожая на участь Федора Коня или псковских светловолосых зодчих. Эта кедринская драма — до сих пор единственное произведение о Рембрандте в нашей литературе — нашла ныне свое сценическое воплощение, входит в репертуар советских театров.

Поэтический талант Кедрина был разносторонним, ему были подвластны многие жанры. Илья Сельвинский писал: «Дмитрий Кедрин представляет собой тот редкий тип поэта, который почти исчез в предреволюционной литературе и стал возрождаться только после Октября, — я имею в виду творчество, охватывающее все жанры стиха, гармоническое развитие поэтического организма. Одни писатели владеют стихом только в лирике; другие, напротив, научились писать пьесы, но поэмы и лирические стихотворения не входят в круг их мастерства. Дмитрий Кедрин умел все, как умели все наши классики от Пушкина до А. К. Толстого. Наряду с лирикой вы найдете у него эпос «Конь», «Дорош Молибога», рядом с балладами и песнями — трагедию «Рембрандт». Да и сама лирика у Кедрина необычайно разнообразна: от гневной антифашистской инвективы до записочки другу с приглашением на дачу».

Лирика Дмитрия Кедрина еще недостаточно изучена и оценена. Лирическая струя его поэзии омывает и эпос и драму, она тесно связана с ними. Но и в чисто лирических его стихотворениях мы нет-нет и заметим какую-то строчку, ремарку, уводящую, подобно свежему ростку, к его эпическим, уже написанным или только возникавшим в воображении вещам. В чудесном стихотворении 1938 года «Зимнее» при описании русского снежного раздолья, при воспоминании о санном пути, о тройке вдруг вторгается

взятый в движении — может быть, к Черной речке, — в дорожном жесте образ Пушкина, которым жил тогда Кедрин, замысливший о гибели великого поэта целый стихотворный роман. В лирике военных лет эта связь, эта спаянность личных чувств с обобщенными, почти декларативными строками фронтовых стихов прослеживается у Кедрина еще четче. Да и самое «тихое», раздумчивое, грустное стихотворение, обращенное к собственной душе и совести — такое, как «Станция Зима», «Давнее» или «Какое просторное небо», — разве оно не волновало, не тревожило в военную годину сердце так много пережившего фронтовика, любого советского человека, разве оно не трогает и не волнует ныне нас?

Интересны мысли Дмитрия Кедрина о творчестве, о литературе, рассыпанные в его письмах друзьям и начинающим авторам, на рукописи которых он писал свои отзывы. Они проливают дополнительный свет на его собственные стихи, на его мировоззрение и литературную позицию. «Поэзия — это полнота сердца, это убежденность», — пишет он. «Поэзия требует полной обнаженности сердца, — развивает эту мысль Кедрин в другом письме, — скрывая ого всех свое главное, невозможно стать поэтом, даже виртуозно овладев поэтической техникой». А вот его мнение, касающееся самой технологии труда поэта: «Поиски яркого выражения есть только поиски смысла, ибо идея существует лишь в образе». И как завет поэта: «Требуйте от себя абсолютной честности, не выпускайте стихи из рук, пока замечаете в них хотя бы один недостаток».

Жизнь Дмитрия Кедрина оборвалась 18 сентября 1945 года. Его нашли убитым у полотна железной дороги в Подмосковье. Обстоятельства этой трагедии, как и гибель его сына семи лет, до сих пор по-настоящему не расшифрованы. Поэт не развернул до конца своего дарования, не дописал задуманного. Но все, что им создано, что запечатлено в его стихах, заставляет нас повторить слова Павла Антокольского, сказанные им о Дмитрии Кедрине в феврале 1946 года, — это был «зрелый мастер и очень искренний и умный человек». Никогда не забудутся три кратких крылатых его строфы, названные высоким словом «Красота», не забудется и сам Дмитрий Кедрин — «луч того солнца, чье имя Россия».

Николай БАННИКОВ

ЛЮБОПЫТСТВО

(1924—1932)

ЗАТИХШИЙ ГОРОД

Екатеринославу

Отгудели медью мятежи,
Отгремели переулки гулкые.
В голенища уползли ножи,
Тишина ползет по переулкам.

Отгудели медью мятежи,
Неурочные гудки устали.
Старый город тяжело лежит,
Крепко опоясанный мостами.

Вы, в упор расстрелянные дни,
Ропот тех, с кем подружился порох...
В облик прошлого мой взор проник
Сквозь сегодняшний спокойный город.

Не привык я в улицах встречать
Шорох толп, по-праздничному белых,
И глядеть, как раны кирпича
Обрастают известковым телом.

Странно мне, что свесилась к воде
Твердь от пуль излеченного дома.
Странно мне, что камни площадей
С пулеметным ливнем не знакомы.

Говорят: сегодня — не вчера.
Говорят: вчерашнее угрюмо.

Знаешь что: я б̄уду до утра
О тебе сегодня ночью думать.

Отчего зажглись фонари
У дверей рабочего жилища?
И стоят у голубых витрин
Слишком много восьмилетних нищих?..

Город мой, затихший великан,
Ты расцвел миллионами загадок.
Мне сказали: «Чтоб сломать века,
Так, наверно, и сегодня надо».

Может быть, сегодня нужен фарс,
Чтобы завтра радость улыбалась?..
Знаешь что: седобородый Маркс
Мне поможет толстым «Капиталом».

1924

ПОГОНЯ

Полон кровью рот мой черный,
Давит глотку потный страх,
Режет грудь мой конь упорный
О колючки на буграх.

А тропа — то ров, то кочка,
То долина, то овраг..
Ну и гонка, ну и ночка..
Грянет выстрел — будет точка,
Дремлет мир — не дремлет враг.

На деревне у молодки
Лебедь — белая кровать.

Не любить, не пить мне водки.
На деревне у молодки,
О плетень сапог не рвать
И коней не воровать.

Старый конь мой, конь мой верный,
Ой, как громок топот мерный:
В буераках гнут вдали
Вражьи кони — ковыли.

Как орел, летит братишка,
Не гляди в глаза, луна.
Грянет выстрел — будет крышка,
Грянет выстрел — кончен Тришка.
Ветер глух. Бледна луна.
Кровь журчит о стремяна.

Дрогнул конь, и ветра рокот
Тонет в травах на буграх.
Конь упал, и громче топот,
Мгла черней, и крепче страх.

Ветер крутит елей кроны,
Треплет черные стога,
Эй, наган, верти патроны,
Прямо в грудь гляди, наган.

И летят на труп вороны,
Как гуляки в балаган.

1925

ИСПОВЕДЬ

«Смотри, дитя, в мои глаза,
Не прячь в руках лица.
Поверь, дитя: глазам ксендза
Открыты все сердца.

Твоя душа грехом полна,
Сама в огонь летит.
Пожертвуй церкви литр вина —
И бог тебя простит».

«Но я, греховный сок любя,
Когда пришла зима —
Грехи хранила для тебя,
А ром пила сама.

С любимым леж на боку,
Мы полоскали рты...»
«Так расскажи духовнику,
В чем согрешила ты?»

«Дебат у моего стола
Религию шатал.
Мои греховные дела
Гремят на весь квартал».

«Проступок первый не таков,
Чтоб драть по десять шкур:
У папы много дураков
И слишком много дур.

Но сколько было и когда
Любовников твоих?
Как целовала и куда
Ты целовала их?»

«С тех пор, как ты лишен стыда,
Их было ровно сто.
Я целовала их туда,
Куда тебя — никто».

«От поцелуев и вина
До ада путь прямой».

Послушай, панна, ты должна
Прийти ко мне домой!

Мы дома так поговорим,
Что будет стул трещать,
И помни, что Высокий Рим
Мне дал права прощать».

«Я помолюсь моим святым
И мессу закажу,
Назначу пост, но к холостым
Мужчинам не хожу».

«Тогда прощай. Я очень рад
Молитвам и постам,
Ведь ты стремишься прямо в ад
И, верно, будешь там».

«Но я божницу уберу,
Молясь, зажгу свечу...
Пусти, старик, мою икру,
Я, право, закричу!..»

«Молчи, господь тебя прости
Своим святым крестом!..»
«Ты... прежде... губы отпусти,
А уж грехи — потом!»

1926

МОСТ ЕКАТЕРИНОСЛАВА

Мой хмурый мост угрюмого Днепровья,
Тебя я долго-долго не встречал.
У города, опоенного кровью,
Легла твоя гранитная печаль.

Я не вернусь... А ты не передвинешь
На этот север хмурые быки.
Ты сторожишь в моей родной долине
Глухую гладь моей большой реки.

Я многое забыл. Но все же память,
Которая дрожит, как утренний туман, —
Навеки уплыла над хмурыми домами
На дальний юг, на голубой лиман.

Я помню дни. Они легли, как глыбы, —
Глухие дни у баррикад врага.
И ты вздохнул. И этот вздох могли бы ль
Не повторить родные берега?

Звезда взошла и уплыла над далью,
Волна журчит и плещет у борта.
Но этот вздох, перезвучавший сталью,
Еще дрожит у колоннад моста.

Она легла, земная грусть гранита,
Она легла и не могла не лечь
На твой бетон, на каменные плиты,
На сталь и ржавь твоих гранитных плеч.

А глубь всплыла и прилегла сердито,
К твоим быкам прильнула, как сестра.
Прилег и ты, и ты умолк, забытый,
Старел и стыл на черном дне Днепра.

Прошли года, и города замолкли,
Гремя и строясь в новые полки.
А ты мечтал на грязном дне реки,
Как ветеран, — тебе не в этот полк ли?

И шаг времен тебя швырнул на знамя:
«Тебя, мол, брат, недостает в борьбе!»

И как во мне, в других воскресла память
О дорогом, о каменном тебе.

И вот пришли, перевернули трапы,
Дымки горнов струили серебро,
А ты напруг свои стальные лапы
И вновь проплыл над голубым Днепром.

Здорово, мост, калека Заднепровья!..
Тебе привет от заводских ребят...
Прошли года. Но ты расцвел здоровьем,
И живы те, кто вырубил тебя.

1926

КРЫЛЕЧКО

Крылечко, клумбы, хмель густой
И локоть в складках покрывала.
«Постой, красавица, постой!
Ведь ты меня поцеловала?»
Крылечко спряталось в хмелю;
Конек, узорные перила.
«Поцеловала. Но «люблю»
Я никому не говорила».

1926

СМЕРТНИК

Песок да вода, да туман серебристый,
Да ветер, как крылья невидимых птиц...
Его отведут на угрюмую пристань,
Сломают бока, но заставят идти.
Он будет кричать тяжело и устало,

Посмотрит капрал и ударит в висок.
Он молча обнимет колени капрала,
Он будет кричать и царапать песок.
А люди прикладами сломят колени
И как ни кричи, не отпустят назад...
А вечер уронит меловые тени
На медные лица солдат.
У берега будут привязаны челны,
А море начнет рокотать и сереть.
И старого смертника выведут к волнам,
Привяжут к столбу и заставят смотреть.
И мертвым безумьем охвачен за ворот,
Он радостно крикнет, сходящий с ума...
А там, вдалеке, где за тучами город,
Вечерним окном промаячит тюрьма...
Вода и песок. А на нем — полурота,
Вода и песок. А на нем — якоря.
Покончат. Немного дрожащие руки
Сожмет офицер. Будет рокот и звон...
Он вынет платок. Он закурит от скуки
И вытрет испачканный кровью погон.
Уйдут... Отзвучав о туман серебристый,
Их мерная поступь умрет вдалеке.
На взморье ударятся волны о пристань,
Стирая песок и следы на песке.

1926

РАЗГОВОР

«В туманном поле долог путь
И ноша не легка.
Пора, приятель, отдохнуть
В тепле, у камелька.
Ваш благородный конь храпит,
Едва жует зерно,

В моих подвалах мирно спит
Трехпробное вино».

«Благодарю. Тепла земля,
Прохладен мрак равнин,
Дорога в город короля
Свободна, гражданин?»

«Мой молодой горячий друг,
Река смыла грунт,
В стране, на восемь миль вокруг,
Идет голодный бунт.
Но нам, приятель, все равно:
Народ бурлит — и пусть.
Игра монахов в домино
Рассеет нашу грусть».

«Вы говорите, что народ
Идет войной на трон?
Пешком, на лодке или вброд
Я буду там, где он.
Прохладны мирные поля,
В равнинах мгла и лень!
Но этот день для короля,
Пожалуй, судный день».

«Но лодки, друг мой, у реки
Лежат без якорей,
И королевские стрелки
Разбили бунтарей.
Вы — храбрецы, но крепок трон,
Бурливые умы.
И так же громок крик ворон
Над кровлями тюрьмы.
Бродя во мгле, среди долин,
На вас луна глядит,
Войдите, и угрюмый сплин
Малага победит».

«Благодарю, но, право, мы —
Питомцы двух дорог.
Я выбираю дверь тюрьмы,
Вам ближе — ваш порог.
Судьбу мятежников деля,
Я погоню коня...
Надеюсь — плаха короля
Готова для меня».

1926
Екатеринослав

ТЕНИ

По рельсам бежала людская тень,
Ее перерезала тень трамвая.
Одна прокатилась в гремящий день,
Другая опять побежала — живая.
Ах, как хорошо в мире у теней.
В мире у людей умирают больней.

1926

ПЕСНЯ О ЖИВЫХ И МЕРТВЫХ

Серы, прохладны и немы
Воды глубокой реки.
Тихо колышутся шлемы,
Смутно мерцают штыки.

Гнутся высокие травы,
Пройденной былью шурша.
Грезятся стены Варшавы
И камыши Сиваша.

Ваши седые курганы
Спят над широкой рекой.
Вы разрядили наганы
И улеглись на покой.

Тучи слегка серебристы
В этот предутренний час,
Тихо поют бандуристы
Славные песни о вас.

Слушают грохот крушенья
Своды великой тюрьмы.
Дело ее разрушенья
Кончим, товарищи, мы.

Наша священная ярость
Миру порукой дана:
Будет безоблачна старость,
Молодость будет ясна.

Гневно сквозь сжатые зубы
Плюнь на дешевый уют.
Наши походные трубы
Скоро опять запоют.

Музыкой ясной и строгой
Нас повстречает война.
Выйдем — и будут дорогой
Ваши звучать имена.

Твердо пойдем, побеждая,
Крепко сумеем стоять.
Память о вас молодая
Будет над нами сиять.

Жесткую выдержку вашу
Гордо неся над собой,

Выпьем тяжелую чашу,
Выдержим холод и бой.

Все для того, чтобы каждый,
Смертью дышавший в борьбе,
Мог бы тихонько однажды
В сердце сказать о себе:

«Я создавал это племя,
Миру несущее новь,
Я подарил тебе, время,
Молодость, слово и кровь».

1927

* * *

Взлохмаченный, немытый и седой
Прошел от Борисфена до Урала —
И Русь легла громадной бороздой,
Как тяжкий след его орала.

А он присел на пашню у сохи,
Десницей отирая капли пота,
И поглядел: кругом серели мхи,
Тянулись финские болота.

Он повалил намокший темный стог
Под голову, свернув его охапкой,
И потянулся, и зевнул, и лег
От моря к морю, и прикрылся шапкой.

Он повод взял меж двух корявых лап,
Решив соснуть немного и немало.
И захрапел. Под исполинский храп
Его кобыла мирно задремала.

Степным бурьяном, сорною травой
От солнца скрыт — он дремлет век и боле.
И не с его ли страшной головой
Руслан сошелся в бранном поле?

Ни дальний гром не нарушает сна,
Ни птичий грай перед бедою,
И трижды Русь легко оплетена
Его зеленой бородою.

1927

СУМЕРКИ

Стонут мухи, и заперты ставни.
Песни дальние спать не дают.
То ребята в днепровские плавни
Вышли рыбу удить — и поют.

Серебристые листья маслины
В белом пухе — на ощупь нежны.
Над плетнем с кувшинами из глины —
Золотые цветы бузины.

Солнце падает. Щедро раскрашен
Красным отблеском угол двора.
Над янтарными гребнями пашен
На межах умирает жара.

Вечер близится медленным шагом,
Тень влача от гумна до гумна,
Не спеша над глубоким оврагом
Выползает седая луна.

1927

ГРЕШНИК

Судьбой зачарован цыганской,
Обнёсенный чарой мирской,
Иду я Смоленской и Брянской,
Рязанской иду и Тверской.

Повешу котомку на посох,
Лаптями дорогу мету,
А травы в серебряных росах
И яблони, знаешь, в цвету.

Российский шагающий житель
На холмике, мой дорогой,
Обитель увижу — в обитель
Зайду на денек, на другой.

Хожу помаленьку за рожью,
Чиню старикам жернова,
Живу и во славушку божью
Рублю, понимаешь, дрова.

То дверь починю, то бочонок,
То хлевик срублю для овцы.
Сухариков, яблок моченых
Дадут на дорогу отцы.

Зовут: «Оставался бы, дедка!»
Да где уж. Не выдержу я.
Зима? Прижимает, да редко:
Ведь мы и с зимою друзья.

И снова дубняк да орешник,
Да пчелы в янтарном меду...
Эх, батюшка, грешник я, грешник.
Как думаешь: буду в аду?

МАСТЕР

Склонясь над червонной солонкой
Узорную травишь резьбу,
Запятав седины под тонкий
Серебряный венчик на лбу.
На медный чеканенный кубок
Античные врежешь слова,
Чету полногрудых голубок
И пасть разъяренного льва.
Пускай голубой кислотою
Изъедены пальцы твои,
Зато чешуей золотою
Блится головка змеи.
И разве не щедрая плата —
Вливать, осторожно дыша,
Густое тягучее злато
В граненую форму ковша?
Чтоб славили гости Калифа
Священное имя твое,
По крыльям свирепого грифа
Узнав золотое литье.

1927

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР

В зимний вечер девки драли перья
В темной хате. Долго говорили
Старые полтавские поверья,
Темные черниговские были:

«А под утро море стало тише.
Хан велел орду готовить к бою...»
Было слышно, как, топчась по крыше,
Ветер разговаривал с трубою.

Стали девки стлаться, напевая,
Съели на ночь по кусочку сала.
Только бабка дряхлая, зевая,
Долго шпилькой голову чесала.

Да и та утихла. Повязалась,
В ухо на ночь положила вату,
Покрестила окна: все казалось,
Что глядит недобрый кто-то в хату.

А уже под утро на деревне
Петухи распелись. Прояснилось.
Молодым — любовь, а этой древней —
Светопреставление приснилось.

1927

КУВШИН

«Приди, благодари и пей» —
Так говорил кувшин безмолвный.
Гостеприимный сын степей
Принес его, водою полный,
На перепутье двух дорог,
Ползущих мертвенной пустыней,
Где сох ковыль и травы жег
Небесный свод, пустой и синий.
А мимо в дальние места
Верблюды шли. И не однажды
Тянули жадные уста
Кочевники в порыве жажды
К его изогнутым краям,
Едва желанье утоляя.
И дальше шли, глоток друзьям
Или верблюдам оставляя.
Глоток не охлаждает уст,

Но влага изошла. И ныне
Нежданно оказался пуст
Кувшин, оставленный в пустыне
1927

ГРАВЮРА

Червонцев блеск на дне мешка,
Тюки, готовые к торговле,
И хвост резного петушка
Краснеет на узорной кровле.

Цыган разводит под горно́м
Огонь, а в тереме над Камой —
Она в окошке слюдяном
У пальцев за свинцовой рамой.
1927

НОЧЬЮ

Феде Сорокину

Ночью проснулся ребенок и горько заплакал.
Небо клубилось и шло. Над амбаром дрожала
звезда.
Нянька храпела в углу. Будильник назойливо
звякал.
Мерно в подставленный таз падала в кухне
вода.
Кто-то проехал вдали. Спальня наполнилась
гулом.
Задребезжало стекло. Треснул комод. И сама,
Кольца свои развернув, зашевелилась под
стулом
И заползла на кровать гостя полночная —
тьма.
Молча уселась в ногах и раскрывает объятья.
Зябко прильнула к стене, страшные шепчет
слова.

Боевых кораблей вымпела развернулись вдали.
Их ласкала волна. Их качало ленивое море.
Мирно спал Скутари. И к нему подошли корабли.
Голубые дымки поползли на зеленые скаты
Гор, дремавших окрест. В наши сакли и наши сады
В этот памятный день заходили чужие солдаты,
Отправшие пот, и стыдливо просили воды.
С ними был офицер. Молодой. Белокурый. Не скрою —
Он был очень красив. Опираясь рукой на ружье,
Он увидел турчанку под выцветшей длинной чадрую.
Страсть встревожила кровь. И ему захотелось ее.
Мать и гордый отец перед ним преклонили колени.
О, разбитое сердце... О, белое пламя седины...
Это ты побледнел или это вечерние тени?..
Ты не очень устал слушать сказку мою, господин?
— Продолжай.

— Ты дрожишь?.. О, как холодны
нежные руки...

То гнилою водой отравили тебя комары...

— Продолжай.

— И от страсти, а может быть, просто
от скуки

Он ее обесчестил, но даже не тронул чадры.

Да. Не тронул чадры. Интересна ль турчанка простая?

Он не видел лица. Помни, белый не видел лица.

Посмотри на кольцо: сердце жалит змея золотая.

Он, наивный, не знал, что турчанка — дороже кольца.

Белый, знаешь ли ты: есть железные когти страданья,

Есть обиды гнездо. В том гнезде оперяется месть...

Шесть мучительных лет от того — до второго свиданья,

Не двенадцать, не десять, не девять, не восемь, а шесть...

Много вод утекло... Много выпито виски и крови.

Офицер и турчанка на улице встретились вновь...

У него появились тяжелые львиные брови...

Господин, ты зевнул или трогаешь пальцами бровь?..

Есть такая болезнь... К человеку проникнув сестрою,

Тайно прячется вглубь, как барсук уползает в нору.

Шесть безоблачных лет пребывает она под чадрую,
Но приходит седьмой и она поднимает чадру...
— Перестань...

— Почему? Я не кончила этим рассказа.
Сядь... Не трогай звонка. Видишь этот обрезанный
шнур?..

— Ты сказала — болезнь... Назови же...

— Простая проказа.
Ты не слышал о ней?.. Ты меня понимаешь, гяур?..
А теперь я снимаю, тебе, господин, не переча,
Дорогую чадру... Не кричи. Ты в отеле один...
Видишь это лицо?.. О, какая счастливая встреча...
Мир тебе, господин...

1927

ПАСХАЛЬНОЕ

Ф. Сорокину

Март кончается. Скоро появятся мухи.
День прохладен, но кошки справляют весну.
На углу, у гнусавящей нищей старухи
Свежий ветер слегка шевелит седину.

Старость. Нищенка дрогнет и прячет в
рубашку
Пальцы гнойной, раздутой болезнью руки,
И на синюю с белыми жилками чашку
Исподлобья наводит большие очки.

Крик старьевщика громок... Пусть лают
собаки:
Он привык, и его заставляют дела —
Палкой сзади мотая, пощипывать баки
И кричать... У старьевщика голос козла.

В доме женщины красят пасхальные яйца,
Моют липкие пальцы... А там, на дворе

Детвора окружила корзину китайца,
Продающего пестрых бумажных зверей.

Там шуршат, извиваясь, цветные драконы,
Умных желтых людей фантастический бред...
В доме ищут клопов, обтирают иконы,
И на кухне с хозяйкой бранится сосед.

Сладко пахнет угар. И назойлив, и звонок
Звук ножа, что острят о цветочный горшок.
В коридоре — на страшное смотрит ребенок:
Там кудахчет и сам шевелится мешок.

Мы зеваем... Я что-то ворчу однозвучно,
Ты взгляделся в обои на пыльной стене...
В этой грязи семейно-предпраздничной скучно
Лишь немногим: тебе да драконам, да мне.

1927

* * *

По шведской моде капитан подстриг
Свою бородку. Шерстка золотая
Едва темнеет. К берегам Китая
В июньский штиль идет английский бриг.
В открытом море шорох волн умолк,
Седая пена шелестеть устала.
Хранить покой посольского квартала
Плывет в Шанхай колониальный полк.
Солдаты в трюме. А жена посла
В плетеном кресле — целый день на юте.
Она бледна. Она в своей каюте
Вчера эфир случайно пролила.
Она грызет поджаренный каштан,
Потом зевает, не скрывая скуки,
И для нее прокуренные руки
В перчатки спрятал рыжий капитан.

Слегка припудрив выбритые скулы,
Стареющий, но бодрый и прямой,
Он принимает рапорт: за кормой
Плывут дельфины и плывут акулы.
Ну, пусть плывут. Ему важнее — ручка
Жены посла, ее ажурный зонт.
Но медленно плывет за горизонт
Коварная серебряная тучка.
Пробили склянки. Массой неживую
Легла вода. Английский бриг прирос
К зеленой массе. Пожилой матрос
Глядит на юг, качает головою.
А капитан мечтает: у стола
Он так блеснет своею речью гибкой,
Что подарит признательной улыбкой
Его старания жена посла.
Он ей расскажет о сухом вине,
Которое он пил, войдя в Афины,
Он ей споет... Но чувствуют дельфины,
Что кораблю сегодня быть на дне.

1927

КАЗНЬ

Дохнул бензином легкий фورد
И замер у крыльца,
Когда из дверцы вылез лорд,
Старик с лицом скопца.
У распахнувшихся дверей,
Поникнув головой,
Ждал дрессированный лакей
В чулках и с булавой.
И лорд, узнав, что света нет
И почта не пришла,
Прошел в угрюмый кабинет
И в кресло у стола,
Устав от треволнений дня,

Присел, не сняв пальто.
Дом без воды и без огня
Угрюм и тих. Ничто
Не потревожит мирный сон.
Плывет огонь свечи,
И беспокойный телефон
Безмолвствует в ночи.

Лорд задремал. Сырая мгла
Легла в его кровать.
А дрема вышла из угла
И стала колдовать:
Склонилась в свете голубом,
Шепча ему, что он
Под балдахином и гербом
Вкушает мирный сон.
Львы стерегут его крыльцо,
Рыча в густую мглу,
И дождик мокрое лицо
Прижал к его стеклу.
Но вот в спокойный шум дождя
Вмешался чуждый звук,
И, рукавами разведя,
Привстал его сюртук.
«Товарищи! Хау-ду-ю-ду? * —
Сказал сюртук, пища. —
Давайте общую беду
Обсудим сообща.
Кому терпение дано —
Служите королю,
А я, шотландское сукно,
Достаточно терплю.
Лорд сжал в кулак мой края,
А я ему, врагу,
Ношу часы? Да разве я
Порваться не могу?»

* Как поживаете? (англ.)

Тут шелковистый альт, звеня,
Прервал: «Сюртук! Молчи!
Недаром выткали меня
Ирландские ткачи».
«Вражда, как острая игла,
Сидит в моем боку!» —
Рубашка лорда подошла,
Качаясь, к сюртуку.
И, поглядев по сторонам
Башмак промолвил: «Так!»
«Друзья! Позвольте слово нам! —
Сказал другой башмак. —
Большевиками состоя,
Мы против всякой тьмы.
Прошу запомнить: брат и я —
Из русской кожи мы».

И проводам сказали: «Плиз! *
Пожалуйте сюда!»
Тогда, качаясь, свисли вниз
Худые провода:
«Мы примыкаем сей же час!
Подайте лишь свисток.
Ведь рурский уголь гнал сквозь нас
Почти московский ток».
Вокруг поднялся писк и вой:
«Довольно! Смерть врагам!»
И голос шляпы пуховой
Вмешался в общий гам:
«И я могу друзьям помочь.
Предметы, я была
Забыта лордом в эту ночь
На кресле у стола.
Живя вблизи его идей,
Я знаю: там — навоз.
Лорд оскорбляет труд людей

* Пожалуйста! (англ.)

И шерсть свободных коз».
А кресло толстое, черно,
Когда умолк вокруг
Нестройный шум, тогда оно
Проговорило вдруг:
«Я дрыхну в продолжение дня,
Но общая беда
Теперь заставила меня
Приковылять сюда.
Друзья предметы, лорд жесток,
Хоть мал, и глуп, и слаб.
Ведь мой мельчайший завиток —
Колониальный раб!
К чему бездействовать крича?
Пора трубить борьбу!
Покуда злоба горяча,
Решим его судьбу!»
«Казнить!» — в жестоком сюртуке
Вопит любая нить;
И каждый шнур на башмаке
Кричит: «Казнить! Казнить!»

С опаской выглянув во двор,
Приличны и черны,
Читать джентльмену приговор
Идут его штаны.
«Сэр! — обращаются они. —
Здесь шесть враждебных нас.
Сдавайтесь, вы совсем одни
В ночной беззвучный час.
Звонок сбежал, закрылась дверь,
Погас фонарь луны...»
«Я буду в Тоуэр взят теперь?» —
«Мужайтесь! Казнены!»

И лорд взмолился в тишине
К судилищу шести:

«Любезные! Позвольте мне
Защитника найти». —
«Вам не избежать наших рук,
Защитник ни при чем.
Но попытайтесь...» — И сюртук
Пожал сухим плечом.

Рука джентльмена набрела
На Библию впотьмах,
Но книга — нервная была,
Она сказала: «Ах!»

Дрожащий лорд обвел мельком
Глазами кабинет,
Но с металлическим смешком
Шептали вещи: «Нет!»
Сюртук хихикнул в стороне:
«Все — против. Кто же за?»
И лорд к портрету на стене
Возвел свои глаза:

«Джентльмен в огне и на воде, —
Гласит хороший тон, —
Поможет равному в беде.
Вступитесь, Джордж Гордон,
Во имя Англии святой,
Начала всех начал!»
Но Байрон в раме золотой
Презрительно молчал.
Обняв седины головы,
Лорд завопил, стенья:
«Поэт, поэт! Ужель и вы
Осудите меня?»
И, губы приоткрыв едва,
Сказал ему портрет:
«Увы, меж нами нет родства
И дружбы тоже нет.

Мою безнравственность кляня,
У света за спиной
Вы снова станете меня
Травить моей женой.
Начнете мне мораль читать,
Потом в угоду ей
У Шелли бедного опять
Отнимете детей.
Нет, лучше будемте мертвы,
Пустой соляный чан, —
За волю греков я, а вы
За рабство англичан».

Тут кресло скрипнуло, пока
Черневшее вдали.
Предметы взяли старика
И в кресло повлекли.
Не в кресло, а на страшный стул,
Черневший впереди.
Сюртук, нескладен и сутул,
Толкнул его: «Сиди!»
В борьбе с жестоким сюртуком
Лорд потерял очки,
А ноги тощие силком
Обули башмаки.
Джентльмен издал короткий стон:
«Ужасен смертный плен!»
А брюки скорчились, и он
Не мог разжать колен.
Охвачен страхом и тоской,
Старик притих, и вот
На лысом темени рукой
Отер холодный пот,
А шляпа вспрыгнула туда
И завозилась там,
И присосались провода
К ее крутым полям.

Тогда рубашка в провода
Впустила острый ток...

Серая, в Темзе шла вода,
Позеленел восток,
И лорд, почти сойдя с ума,
Рукой глаза протер...
Над Лондоном клубилась тьма:
Там бастовал шахтер.

1928

КРЕМЛЬ

В тот грозный день, который я люблю,
Меня почтив случайным посещеньем,
Ты говорил, я помню, с возмущеньем:
«Большевики стреляют по Кремлю».
Гора до пят взволнованного сала —
Ты ужасался... Разве знает тля,
Что ведь не кистью на стене Кремля
Свои дела история писала.
В тот год на землю опустилась тьма
И пел свинец, кирпичный прах вздымая,
Ты подметал его, не понимая,
Что этот прах — история сама...
Мы отдаем покойных власти тленья
И лишний сор — течению воды,
Но ценим вещь, раз есть на ней следы
Ушедшего из мира поколенья,
Раз вещь являет след людских страстей —
Мы чтим ее и, с книгою равняя,
От времени ревниво охраняя,
По вещи учим опыту детей.
А гибнет вещь — нам в ней горька утрата
Ума врагов и смелости друзей.
Так есть доска, попавшая в музей
Лишь потому, что помнит кровь Марата.

И часто капли трудового пота
Стирает мать. Приводит в Тюильри
Свое дитя и говорит: «Смотри —
Сюда попала пуля санкюлота...»
Пустой чудак, умерь свою спесивость,
Мы лучше знаем цену красоты.
Мы сводим в жизнь прекрасное, а ты?
Привык любить сусальную красоту...
Но ты решил, что дрогнула земля
У грузных ног обстрелянного зданья.
Так вслушайся: уже идут преданья
О грозных башнях Красного Кремля.

1928

ПОРТРЕТ

Ф. Сорокину

Твои глаза — две злые птицы,
Два ястреба или орла.
Близ них, как хищные крыла,
Раскинуты твои ресницы.

Сползает к мощному надбровью
Упрямый лоб. На нем война
Огнем чертила письма
И знаки закрепляла кровью.

Твой лик отточен, тверд и тонок,
Недвижен, ясен... Лишь порой
Сквозь этот лик глядит второй:
Поэт, проказник и ребенок.

А первый, мужественно-грубый,
В следах тревоги и войны
Скрывается. И вот нежны
Лукавые сухие губы.

Так ты, единый, весь раздвоен,
И, чередуясь, тьма и свет
Живут в тебе, дитя, поэт,
Ленивый бражник, хмурый воин.

1928, 2 января

ДЕТСТВО

Верно, леший ночью лазил в ригу,
Перепутал вожжи, спрятал грабли.
Тихий летний дождик. И на книгу
Падают большие капли.

Няня знает: не покрестишь двери,
Он и проползет, как вакса, черен.
Пахнет сеном. В книге любит Мери
Странный офицер Печорин.

В поле ветер трогает пшеницу,
Где-то свищет суслик тонко-тонко.
Нежно гладят белую страницу
Пальцы сероглазого ребенка.

Дождь прошел. Ушла жара дневная.
Сладко пахнет табаком из сада...
«Это сказки, милый?» —

«Да, родная,
Но теперь душа и сказкам рада».

1928

ПОЙ И ВЕРУИ!

Да, верить в славу — труд
напрасный,
Ее на свете нет, а есть

Вражды ревнивой суд
пристрастный,
Друзей расчетливая лесь.

Хвале не радуйся наружно,
Пусть позаботится о ней
Потомок, если это нужно:
Он беспристрастней и честней.

А ты работай, и да будет
Живое сердце — твой улов.
Завистливо и лживо судит
Толкучий рынок. Пошлых слов —

Даров его хвалы умильной —
Не жди, поэт. Тебе дано
От шелухи пустой и пыльной
Отсеять чистое зерно.

Отмерь искусству полной мерой
Живую кровь и трудный пот,
Живи, надейся, пой и веруй:
Твое прекрасное — взойдет!

1928

* * *

Прекрасна полнокровных дев
Старательная добродетель,
Но лучше, в том господь свидетель,
Блудниц вакхический напев.

Когда, шатаясь во хмелю,
Вино на скатерть лья рекою,

Нетвердой трепетной рукою
Я ножку легкую ловлю,

Когда горячий влажный рот
И взор, блеснувший томной мглою,
Влекут меня и над стрелою
Хлопочет маленький эрот, —

Тогда в крови тяжелый жар
Пылает, сдерживаем еле
И, пленная, в славянском теле
Бьет золотая кровь татар.

1928

ПРОШЕНИЕ

Ваше благородие! Теперь косовица,
Хлебушек сечется, снимать бы пора.
Руки наложить? На шлее удавиться?
Не обмолотить яровых без Петра.

Всех у нас работников — сноха да внучек.
Молвить по порядку, я врать не люблю,
Вечером пришли господин поручик
Вроде бы под мухой. Так, во хмелю.

Начали, — понятное дело: пьяный,
Хмель хотя и ласковый, а шаг до греха, —
Бегать за хозяйкой Петра, Татьяной,
Которая нам сноха.

Ты из образованных? Дворянского рода?
Так не хулигань, как последний тать.
А то повалил посреди огорода,
Принялся давить, почал хватать.

Петр это наш, это — мирный житель:
А ни воровать, ни гнать самогон.
Только, ухватившись за ихний китель,
Петр ненароком сорвал погон.

Малый не такой, чтобы драться с пьяным,
Тронул их слегка, приподнял с земли.
Они же осерчали. Грозя наганом,
Взяли и повели.

Где твоя погибель — поди приметь-ка,
Был я у полковника, и сам не рад.
Говорит: «Расстреляем!» Потому как Петька
Будто бы есть «большевицкий гад».

Ваше благородие! Прилагаю при этом
Сдобных пирогов — напекла свекровь.
Имей, благодетель, сочувствие к летам,
Выпусти Петра, пожалей мою кровь.

А мы с благодарностью — подводу, коня ли,
Последнюю рубашку, куда ни шло...
А если Петра уже разменяли —
Просим отдать барахло.

1928

* * *

Звезда взошла, как кровь. Не в пору лаял пес,
На горе рос ковыль, и, верно, не к добру
Несытый сивый волк трубил в своем бору.
Звезда взошла, как кровь. Ковыль на горе рос.
Горячий вихрь кружит на Ярославне шаль.
Сталь звякает о сталь. На городской стене
Протяжный женский вопль. Седая степь в огне.

Над степью бродит звон. Над степью плачет
сталь.
Шесть лет стоит зима. Косматый печенег
Льет кровь на рыхлый снег и требует ключей.
Слеза, моча и кровь слились в один ручей.
Хмельная княжья рать легла на рыжий снег.
На драку черных птиц над черепом коня
Глядит седой вещун, от голода раздут:
«Простонут девять зим и звери не найдут
Здесь черепа коня и пепла от огня.
Не вымоюсь водой и тканью не утрюсь,
А вымрет племя Русь и изойдет на нет.
Лишь книжная молва научит темный свет,
Что на земле Днепра стояло племя Русь.

1928

* * *

Пускай беды зловещие зарницы
Огнем и мраком опалили нас,
Коль мы вдвоем — темница не темница,
И дружество соединяет нас.

Наш тяжкий год прошел под общим кровом,
Свободы голос громче наконец.
Венец терновый перевит с лавровым —
Вдвойне прекрасен и вдвойне венец!

1929

ГИБЕЛЬ БАЛАБОЯ

В порванной кубанке, небритый, рябой,
Ходит по Берлину Василь Балабой.
У Васьки на сердце серебряный хрестик,

Бо Васька — герой Ледяного Похода.
А только — пошли вы с тем хрестиком

вместе к...

То есть, извиняюсь... Дождик... Погода...

Шапка у пуху. Сапоги у глине.

Пожалиться некому — разговорчик детский!

Мало ль этой людки у том у Берлине?

И ведь каждая тварь говорит по-немецки!

Отшумел ты, Вася! Труба нам с тобой!

Блин с тебя, любезный Василь Балабой!

Ты ли пановал малярной Кубанью,

Чуб носил до губ, сапоги до бедра?..

Молодость проел ты и ряшку кабанью,

Ту, что нагулял на харчах у Шкурá!..

Всякому понятно, что щука в пруде

Чувствует себя, как рыба в воде!

Перышко возьми да на счетах подбей-ка:

Что ж тебе осталось? Подводит бока...

Трубка-носогрейка да бритва-самобрейка,

То есть — молочко от рябого бычка...

В порванной кубанке, небритый, рябой,

Тощий и в растерзанном виде,

Шляясь по Берлину, Василь Балабой

Зашел к атаману Гниде.

Ходит она, гнида, в малиновых штанах,

Грудь у ей, у гниды, уся в орденах,

Ментик на гниде с выпушкой,

Кушают они с лапушкой.

Вытерла усы от блинов от пшеничных:

«Кто его впустил, такую ворону? —

Масло сблизала. — Пройдите, станичник!

Я уже пожертвовал. В церковь. Крону...»

Злость его взяла, не хватило ли сил

(Он ведь пер на Орел, с-под Царицына

драпал),

Голова ль закружилась, а только Василь

Шапку скинул, завыл, опрокинулся на пол:

«За ваши за души, за эти гроши
Клинком оглоушен я, пулей прошит..
Вы гребли в сундуки серебро и меха,
Запаскудили совесть и душу сожгли мою!..
Для чего под Ростовом я клал потроха
За твою за Единую да Неделимую?!»
Взял Балабоя денщик-текинец,
Дал натошак Балабою гостинец,
Сел Балабой между лип на бульваре,
Возле плевательниц на Фридрихштрассе...
Скрипка мяукает где-то в баре,
Молодость вспомнилась... Скучно, Вася!..
Так-то. Людям — кресты и медали,
А нам, медведям, ничего не дали!
Варька, прощай! Я дарил тебе мыло.
Ты, чай, поешь на морском берегу:
«Девять я любила, восемь разлюбила,
Одного позабыть не могу!..
За что же? За удаль ночного погрома?
За хмель? За каемку погона?..
Ерема, Ерема, сидел бы ты дома,
Точил бы свои веретена!

1931

СТРОИТЕЛЬ

Мы разбили под звездами табор
И гвоздями прибили к шесту
Наш фонарик, раздвинувший слабо
Гуталиновую черноту.
На гранита шершавые плиты
Аккуратно поставили мы
Ватерпасы и теодолиты,
Положили кирки и ломы.
И покуда товарищи спорят,

Я задумался с трубкой у рта:
Завтра утром мы выстроим город,
Назовем этот город — Мечта.
В этом улье хрустальном не будет
Комнатушек, похожих на клеть.
В гулких залах веселые люди
Будут редко грустить и болеть.
Мы сады разобьем, и над ними
Станет, словно комета хвостат,
Неземными ветрами гонимый,
Пролетать голубой стратостат.
Благодарная память потомка!
Ты поклонисься нам до земли.
Мы в тяжелых походных котомках
Для тебя это счастье несли!
Не колеблясь ни влево, ни вправо,
Мы работе смотрели в лицо
И вздымаются тучные травы
Из сердец наших мертвых отцов...
Тут одетый в брезентовый китель,
По рештовкам у каждой стены,
Шел и я, безыменный строитель
Удивительной этой страны.

1931

АФРОДИТА

Протирая лорнеты,
Туристы блуждают, глаза
На безруких богинь,
На героев, поднявших щиты.
Мы проходим втроем
По античному залу музея:
Я, пришедший взглянуть,
Старичок завсегда
И ты.

Ты работала смену
И прямо сюда от вальцовки.
Ты домой не зашла,
Придется тебе не пришлось.
И глядит из-под фартука
Краешек синей спецовки,
Из-под красной косынки —
Сверкающий клубень волос.
Ты ступаешь чуть слышно,
Ты смотришь, немножко робея,
На собрание богов
Под стволами коринфских колонн.
Закатившая очи,
Привычно скорбит Ниобея,
Горделиво взглянувший,
Пленяет тебя Аполлон.

Завсегдашай шалает.
Его ослепляет Даная.
Он молитвенно стих
И лепечет, роняя пенсне:
«О небесная прелесть!
Ответь, красота неземная,
Кто прозрел твои формы
В ночном ослепительном сне?»
Он не прочь бы пощупать
Округлость божественных ляжек,
Взгромоздившись к бессмертной
На тесный ее пьедестал.
И в большую тетрадь
Вдохновенный его карандашик
Те заносит восторги, которые он испытал.
«Молодой человек! —
Поучительно,
С желчным присвистом,
Проповедует он, —
Верьте мне,

Я гожусь вам в отцы:
Оскудело искусство!
Покуда оно было чистым,
Нас божественной радостью
Щедро дарили творцы».

«Уходи, паралитик!
Что знаешь ты,
Нищий и серый?
Может быть, для Мадонны
Натурой служила швея.
Поищи твое небо
В склерозных распятыях Дюрера,
В недоносках Джиото,
В гнилых откровеньях Гойя.
Дорогая, не верь!
Если б эти кастраты, стеная,
Создавали ее,
Красота бы давно умерла.
Красоту создает
Трижды плотская,
Трижды земная
Пепелящая страсть,
Раскаленное зренье орла.
Посмотри:
Все богини,
Которые, больше не споря,
Населяют Олимп,
Очутившийся на Моховой,
Родились в городках
У лазурного теплого моря,
И — спроси их —
Любая
Была в свое время живой.
Хлопотали они
Над кругами овечьего сыра,
Пряли тонкую шерсть,

Пели песни,
Стелили постель.
Это жен и любовниц
В сварливых властительниц мира
Превращает Скопас,
Переделывает Пракситель.

Красота не угасла!
Гляди, как спокойно и прямо
Выступал гладиатор,
Как диск заносил Дискобол.
Я встречал эти мускулы
На стадионе «Динамо»,
Я в тебе, мое чудо,
Мою Афродиту нашел.
Оттого на тебя
(Ты уже покосилась сердито)
Неотвязно гляжу,
Неотступно хожу по следам.
Я тебя, моя радость,
Живая моя Афродита, —
Да простят меня боги! —
За их красоту не отдам.
Ты глядишь на них, милая,
Трогаешь их, дорогая,
Я гляжу тебе вслед
И причудливой тешусь игрой:
Ты, я думаю молча,
На цоколе стройном, нагая,
Рядом с пеннорожденной
Казалась бы младшей сестрой,
Так румянец твой жарок,
Так губы свежи твои нынче,
Лебединая шея
Так снежно бела и стройна,
Когда бы в Милане
Тебя он увидел бы — Винчи, —

Ты второй Джиокондой
Сияла бы нам с полотна!
Между тем ты не слепок,
Ты — сверстница мне,
Ты — живая.
Ходишь в стоптанных туфлях.
Я родинку видел твою.
Что ж, сердись или нет,
А тебя, проводив до трамвая,
Я беру тебя в песню,
Мечту из тебя создаю.
Темнокудрый юнец
По расплывчатым контурам линий
Всю тебя воссоздаст
И вздохнет о тебе горячо.
Он полюбит твой профиль,
И взор твой студеной и синий,
И сквозь легкую ткань
Золотое в загаре плечо.

Вечен ток вдохновенья!
И так, не смолкая, гудит он
Острым творческим пламенем
Тысячелетья, кажись.
Так из солнечной пены
Встает и встает Афродита,
Пены вольного моря,
Которому прозвище —
Жизнь.

1931

КИТАЙСКАЯ ЛЮБОВЬ

Полезно заметить,
Что с Фый Сянь-ку
Маруська сошлась, катаясь.

Маруська пошла
На Москву-реку,
И к ней подошел китаец.
Китаец был желт
И черноволос.
Сказал ей, что служит в тресте.
Хоть он и скуласт
И чуточку кос,
А сели кататься вместе.

Он выпалил сотню
Любовных слов,
Она ему отвечала.
Итак, китайская эта любовь
Имеет свое начало.
Китаец влюбился,
Как я, как все...
В Таганке жила Маруська.
Китаец пришел к ней.
Ее сосед
На нехристя пса науськал.
Соседки судачили из угла:
«Гляди-ка! С кем она знается!»
И Марья Ивановна предрекла:
«Эй, девка!
Родишь китайца!»
«В какую ж он масть
Пойдет, сирота?» —
Гадали кумушки заново.
«Полоска бела, полоска желта», —
Решила Марья Ивановна.

Она ошибалась.
Дитя родилось —
Гладкое, без полосок.
Ребенок был желт
И слегка раскос,
Но определенно — курносый!

Две мощные крови
В себе смешав,
Лежал,
Кулачки меж пеленок пряча,
Сначала поплакал,
Потом не спеша
И улыбаться начал

Потом,
Расширяя свои берега,
Уверенно, прочно, прямо
Пошел на коротких
Крепких ногах
И внятно промолвил: «Мама».

Двух рас
В себе сочетающий кровь,
Не выродился,
Не вымер,
Но жил, но рос,
Крутолоб и здоров,
И звали его
Владимир!

1931

КУКЛА

Как темно в этом доме!
Тут царствует грузчик багровый,
Под нетрезвую руку
Тебя колотивший не раз...
На окне моем — кукла.
От этой красотики безбровой
Как тебе оторвать
Васильки загоревшихся глаз?

Что ж!
Прильни к моим стеклам

И красные пальчики высунь...
Пес мой куклу изгрыз,
На подстилке ее теребя.
Кукле — много недель!
Кукла стала курносой и лысой.
Но не все ли равно?
Как она взволновала тебя!

Лишь однажды я видел:
Блнстали в такой же заботе
Эти синие очи,
Когда у соседских ворот
Говорил с тобой мальчик,
Что в каменном доме напротив
Красный галстучек носит,
Задорные песни поет.

Как темно в этом доме!
Ворвись в эту нору сырую
Ты, о время мое!
Размечи этот нищий уют!
Тут дерутся мужчины,
Тут женщины тряпки воруют,
Сквернословят, судачат,
Юродствуют, плачут и пьют.

Дорогая моя!
Что же будет с тобой?
Неужели
И тебе между них
Суждена эта горькая часть?
Неужели и ты
В этой доле, что смерти тяжеле,
В девять — пить,
В десять — врать
И в двенадцать —
Научишься красть?

Неужели и ты
Погрузишься в попойку и в драку,
По намекам поймешь,
Что любовь твоя —
Ходкий товар,
Углем вычернишь брови,
Нацепишь на шею — собаку,
Красный зонтик возьмешь
И пойдешь на Покровский бульвар?

Нет, моя дорогая!
Прекрасная нежность во взорах
Той великой страны,
Что качала твою колыбель!
След труда и борьбы —
На руке ее известь и порох,
И под этой рукой
Этой доли —
Бояться тебе ль?

Для того ли, скажи,
Чтобы в ужасе,
С черствою коркой
Ты бежала в чулан
Под хмельную отцовскую дичь, —
Надрывался Дзержинский,
Выкашливал легкие Горький,
Десять жизней людских
Отработал Владимир Ильич?

И когда сквозь дремоту
Опять я услышу, что начат
Полуночный содом,
Что орет забулдыга-отец,
Что валится посуда,
Что голос твой тоненький плачет, —
О терпенье мое!
Оборвешься же ты наконец!

И придут комсомольцы,
И пьяного грузчика свяжут,
И нагрянут в чулан,
Где ты дремлешь, свернувшись
в калач,

И оденут тебя,
И возьмут твои вещи,
И скажут:
«Дорогая!
Пойдем,
Мы дадим тебе куклу.
Не плачь!»

1932

* * *

Любезный читатель! Вы мрак, вы загадка.
Еще не снята между нами рогатка.
Лежит моя книжка под Вашей рукой.
Давайте знакомиться! Кто Вы такой?
Быть может, Цека посылает такого
В снега, в экспедицию «Сибирякова»,
А может быть, чаю откушав ко сну,
Вы душой браните больную жену.
Но нет, Вы из первых. Вторые скупее,
Вы ж царственно бросили 20 копеек,
Раскрыли портфель и впихнули туда
Пять лет моей жизни, два года труда.
И если Вас трогают рифмы, и если
Вы дома удобно устроитесь в кресле
С покупкой своей, что дешевле грибов, —
Я нынче же Вам расскажу про любовь
Раскосого ходи с работницей русской,
Китайца роман с белобрысой Маруськой,

Я Вам расскажу, как сварили Христа,
Как Байрон разгневанный сходит с холста,
Как к Винтеру рыбы ввалились гурьбою,
Как трудно пришлось моему Балабою,
Как шлет в контрразведку прошение мужик
И как мой желудок порою блажит.
Порой в одиночку, по двое, по трое,
Толпою пройдут перед Вами герои,
И каждый из них принесет Вам ту злость,
Ту грусть, что ему испытать довелось,
Ту радость, ту горечь, ту нежность, тот смех,
Что всех их роднит, что связует их всех.
Толпа их... Когда, побеседовав с нею,
Читатель, Вам станет немного яснее,
Кого Вам любить и кого Вам беречь,
Кого ненавидеть и чем пренебречь, —
За выпись в блокноте, за строчку в цитате,
За добрую память — спасибо, читатель!..
Любезный читатель! А что, если Вы
Поклонник одной лишь «Вечерней Москвы»,
А что, если Вы обыватель и если
Вас трогают только романы Уэдсли.
Увы! Эта книжка без хитрых затей!
Тут барышни не обольщают детей,
Решительный граф, благородный, но бедный,
Не ставит на карту свой перстень наследный,
И вокруг завешания тайного тут
Скапен с Гарпагоном интриг не плетут!..
Двугривенный Ваш не бросайте без цели,
Купите-ка лучше коробочку «Дели».
Читать эту книжку не стоит труда:
Поверьте, что в ней пустячки, ерунда.

ЗРЕЛОСТЬ
(1933—1945)

ПОЕДИНОК

К нам в гости приходит мальчик
Со сросшимися бровями,
Пунцовый густой румянец
На смуглых его щеках.
Когда вы садитесь рядом,
Я чувствую, что меж вами
Я скучный, немножко лишний,
Педант в роговых очках.

Глаза твои лгать не могут.
Как много огня теперь в них!
А как они были тусклы...
Откуда же он воскрес?
Ах, этот румяный мальчик!
Итак, это мой соперник,
Итак, это мой Мартынов,
Итак, это мой Дантес!

Ну что ж! Нас рассудит пара
Стволов роковых Лепаж
На дальней глухой полянке,
Под Мамонтовкой, в лесу.
Два вежливых секунданта,
Под горкой — два экипажа,
Да седенький доктор в черном,
С очками на злом носу.

Послушай-ка, дорогая!
Над нами шумит эпоха,

И разве не наше сердце —
Арена ее борьбы?
Виновен ли этот мальчик
В проклятых палочках Коха,
Что ставило нездоровье
В колеса моей судьбы?

Наверно, он физкультурник,
Из тех, чья лихая стайка
Забил на стадионе
Испании два гола.
Как мягко и как свободно
Его голубая майка
Тугие гибкие плечи
Стянула и облегла!

А знаешь, мы не подыдем
Стволов роковых Лепаж
На дальней глухой полянке,
Под Мамонтовкой, в лесу.
Я лучше приду к вам в гости
И, если позволишь, даже
Игрушку из Мосторгина
Дешевую принесу.

Твой сын, твой малыш безбровый
Покоится в колыбели.
Он важно пускает слюни,
Вполне довольный собой.
Тебя ли мне ненавидеть
И ревновать к тебе ли,
Когда я так опечален
Твоей морщинкой любой?

Ему покажу я рожки,
Спрошу: «Как дела, Егорыч?»
И, мирно напившись чаю,

Пешком побреду домой.
И лишь закурю дорогой,
Почуяв на сердце горечь,
Что наша любовь не вышла,
Что этот малыш — не мой.

1933

АД

Недобрый дух повел меня,
Уже лежавшего в могиле,
В страну подземного огня,
Которой Данте вел Вергилий.

Из первого в девятый круг
Моя душа была ведома —
Где жадный поп и лживый друг,
И скотоложец из Содома.

Я видел гарпий в том леске,
Над тем узилищем, откуда
В нечеловеческой тоске
Бежал обугленный Иуда.

Колодезь ледяной без дна,
Где день за днем и год за годом,
Как ось земная, Сатана
Простерт от нас до антиподов.

Я грешников увидел всех —
Их пламя жжет и влага дразнит,
Но каждому из них за грех
Вменялась боль одной лишь казни.

«Где мне остаться?» — я спросил
Ведущего по адским стогнам.
И он ответил: «Волей сил
По всем кругам ты будешь прогнан».

1934

ДВОЙНИК

Два месяца в небе, два сердца в груди,
Орел позади, и звезда впереди.
Я поровну слышу и клекот орлиный,
И вижу звезду над родимой долиной:
Во мне перемешаны темень и свет,
Мне Недоросль — прадед, и Пушкин — мой
дед.

Со мной заодно с колченогой кровати
Утрами встает молодой обыватель,
Он бродит, раздет, и немыт, и небрит,
Дымит папиросой и плоско острит.
На сад, что напротив, на дачу, что рядом,
Глядит мой двойник издевательским взглядом,
Равно неприязненный всем и всему, —
Он в жизнь в эту входит, как узник в тюрьму.

А я человек переходной эпохи...
Хоть в той же постели грызут меня блохи,
Хоть в те же очки я гляжу на зарю
И тех же сортов папиросы курю,
Но славлю жестокость, которая в мире
Клопов выжигает, как в затхлой квартире,
Которая за косы землю берет,
С которой сегодня и я в свой черед
Под знаменем гезов, суровых и босых,
Вперед заносу мой скитальческий посох...
Что ж рядом плетется, смешок затая,
Двойник мой, проклятая косность моя?

Так, пробуя легкими воздух студень,
Сперва задыхается новорожденный,
Он мерзнет, и свет ему режет глаза,
И тянет его воротиться назад,
В привычную ночь материнской утробы;
Так золото мучат кислотною пробой,
Так все мы в глаза двойника своего
Глядим и решаем вопрос: кто кого?

Мы вместе живем, мы неплохо знакомы,
И сильно не ладим с моим двойником мы;
То он меня ломит, то я его мну,
И, чуть отдохнув, продолжаем войну.
К эпохе моей, к человечества маю
Себя я за шиворот приподымаю.
Пусть больно от этого мне самому,
Пускай тяжело, — я себя подыму!
И если мой голос бывает печален,
Я знаю: в нем фальшь никогда не жила!.,
Огромная совесть стоит за плечами,
Огромная жизнь расправляет крыла!

1934

БРОДЯГА

Есть у каждого бродяги
Сундучок воспоминаний.
Пусть не верует бродяга
И ни в птичий грай, ни в чох, —
Ни на призраки богатства
В тихом обмороке сна, ни
На вино не променяет
Он заветный сундучок.

Там за дружбою слежалой,
Под враждою закоптелой,

Между чувств, что стали трухлой
Связкой высохших грибов, —
Перевязана тесемкой
И в газете пожелтелой,
Как мышонок, притаилась
Неуклюжая любовь.

Если якорь брига выбран,
В кабачке распита брага,
Ставни синие забиты
Навсегда в родном дому, —
Уплывая, все раздарит
Собутыльникам бродяга,
Только этот желтый сверток
Не покажет никому...

Будет день: в борты, как в щеки,
Оплеухи волн забьют — и
«Все наверх! — засвищет боцман. —
К нам идет девятый вал!»
Перед тем как твердо выйти
В шторм из маленькой каюты,
Развернет бродяга сверток,
Мокрый ворот разорвав.

И когда вода раздавит
В трюме крепкие бочонки,
Он увидит, погружаясь
В атлантическую тьму:
Тонколицая колдунья,
Большеглазая девчонка
С фотографии грошовой
Улыбается ему.

1934

В камнях вылуца, в омутах вымоча,
 Стылый труп отрыгнула вода.
 Осталась от Григорий Ефимыча
 Много-много — одна борода!
 Дух пошел. Раки вклешились в бороду.
 Примерзает калоша ко льду.
 Два жандарма проводят по городу
 Лошадь с прахом твоим в поводу.
 И бредут за санями вдовицами
 Мать-царица и трое княжон...
 Помнишь: баба твоя белолица
 Говорила: «Не лезь на рожон!»
 Нет! Поплелся под арки Растрельнины
 С посошком за горючей мечтой!..
 Слушай, травленный, топлёный, стреляный,
 Это кто ж тебя так и за что?
 Не за то ли, что кликал ты милкою
 Ту, что даже графьям не ровня?
 Что царицу с мужицкой ухмылкой
 Ты увел, как из стойла коня?..
 Слизни с харями ряженных святочных!
 С их толпою равняться тебе ль?
 Всей Империи ты первый взяточник,
 Первый пьяница, первый кобель!..
 Помнишь, думал ты зорькою тающей:
 «Не в свою я округу забрел!»
 Гришка-Гришка! Высоко летаешь ты,
 Да куда-то ты сядешь, орел?
 Лучше б травы косить.
 Лучше б в девичьей
 Щупать баб да петрушку валять,
 Чем под нож дураков Пуришкевичей
 Бычье горло свое подставлять!
 Эх, пройтись б тепер с песней громкою

В заливные луга, где косьба!..
Хоть и в княжских палатах — да фомкою
Укокошили божья раба!

1935

СЕРДЦЕ

Бродячий сюжет

Девчину пытается казак у плетня:
«Когда ж ты, Оксана, полюбишь меня?
Я саблей добуду для крали своей
И светлых цехинов, и звонких рублей!»
Девчина в ответ, заплетая косу:
«Про то мне ворсжка гадала в лесу.
Пророчит она: мне полюбится тот,
Кто матери сердце мне в дар принесет.
Не надо цехинов, не надо рублей,
Дай сердце мне матери старой твоей.
Я пепел его настою на хмелю,
Настоя напьюсь — и тебя полюблю!»
Казак с того дня замолчал, захмурел,
Борща не хлебал, саламаты не ел.
Клинком разрубил он у матери грудь
И с ношей заветной отправился в путь:
Он сердце ее на цветном рушнике
Коханой приносит в косматой руке.
В пути у него помутилось в глазах,
Всходя на крылечко, споткнулся казак.
И матери сердце, упав на порог,
Спросило его: «Не ушибся, сынок?»

1935

КОФЕЙНЯ

...Имеющий в кармане мускус
не кричит об этом на улицах.
Запах мускуса говорит за него.

Саади

У поэтов есть такой обычай —
В круг сойдясь, оплевывать друг друга.
Магомет, в Омара пальцем тыча,
Лил ушатом на беднягу ругань.

Он в сердцах порвал на нем сорочку
И визжал в лицо, от злобы пьяный:
«Ты украл пятнадцатую строчку,
Низкий вор, из моего «Дивана»!

За твоими подлыми следами
Кто пойдет из думающих здраво?»
Старики кивали бородами,
Молодые говорили: «Браво!»

А Омар плевал в него с порога
И шипел: «Презренная бездарность!
Да минет тебя любовь пророка
Или падишаха благодарность!

Ты бесплоден! Ты молчишь годами!
Быть певцом ты не имеешь права!»
Старики кивали бородами,
Молодые говорили: «Браво!»

Только некто пил свой кофе молча,
А потом сказал: «Аллаха ради!
Для чего пролито столько желчи?»
Это был блистательный Саади.

И минуло время. Их обоих
Завалил холодный снег забвенья.

Стал Саади золотой трубою,
И Саади слушала кофейня.

Как ароматические травы,
Слово пахло медом и плодами,
Юноши не говорили: «Браво!»
Старцы не кивали бородами.

Он заморозил их песней птичьей,
Песней жаворонка в росах луга...
У поэтов есть такой обычай —
В круг сойдясь, оплевывать друг друга.

1936

СОЛОВЕЙ

Несчастный, больной и порочный
По мокрому саду бреду.
Свистит соловей полуночный
Под низким окошком в саду.

Свистит соловей окаянный
В саду под окошком избы.
«Несчастный, порочный и пьяный,
Какой тебе надо судьбы?»

Рябиной горчит и брусникой
Тридцатая осень в крови.
Ты сам свое горе накликал,
Милуйся же с ним и живи.

А помнишь, как в детстве веселом
Звезда протирала глаза
И ветер над садом был солон,
Как детские губы в слезах?

А помнишь, как в душные ночи,
Один между звезд и дубов,
Я щелкал тебе и пророчил
Удачу твою и любовь?..»

Молчи, одичалая птица!
Мрачна твоя горькая власть:
Сильнее нельзя опуститься,
Страшней невозможно упасть.

Рябиной и горькой брусникой
Тропинки пропахли в бору.
Я сам свое горе накликать
И сам с этим горем умру.

Но в час, когда комья с лопаты
Повалятся в яму, звеня,
Ты вороном станешь, проклятый,
За то, что морочил меня!

1936

ПОДМОСКОВНАЯ ОСЕНЬ

В Перово пришла подмосковная осень
С грибами, с рябиной, с ремонтами дач.
Ты больше, пиджак парусиновый сбросив,
Не ловишь ракеткою теннисный мяч.

Березки прозрачны, скворечники немые,
Утрами морозец хрустит по садам:
И дачница в город везет хризантемы,
И дачник увязывает чемодан.

На мокрых лугах зажелтелась морошка.
Охотник в прозрачном и гулком лесу,

По топкому дерну шагая сторожко,
Несет в ягдташе золотую лису.

Бутылка вина кисловата, как дрожжи.
Закурим, нальем и послушаем, как
Шумит элегический пушкинский дождик
И шаткую свечку колеблет сквозняк.

1936

ПЕСНЯ ПРО ПАНА

Настегала дочку мать крапивой:
— Не расти большой, расти красивой,
Сладкой ягодкой, речной осокой,
Чтоб в тебя влюбился пан высокий,
Ясноглазый, статный, черноусый,
Чтоб дарил тебе цветные бусы,
Золотые кольца и белила, —
Вот тогда ты будешь, дочь, счастливой.

Дочка выросла, как мать велела:
Сладкой ягодкою, королевой,
Белой лебедью, речной осокой,
И в нее влюбился пан высокий,
Черноусый, статный, ясноглазый,
Подарил он ей кольцо с алмазом,
Пояс драгоценный, ленту в косы...
Наигрался ею пан — и бросил!

Юность коротка, как песня птичья,
Быстро вянет красота девичья.
Иссеклися косы золотые,
Ясный взор слезинки замутили.
Ничего-то девушка не помнит,
Помнит лишь одну дорогу в омут,

Только тише, чем кутенок в сенцах,
Шевельнулась дочь у ней под сердцем.

Дочка в пана родилась — красивой.
Настегала дочку мать крапивой:
— Не расти большой, расти здоровой,
Крепкотелой, дерзкой, чернобровой,
Озорной, спесивой, языкатой,
Чтоб тебя не тронул пан проклятый.
А придет он потный, вислоусый
Да начнет сулить цветные бусы,
Пояс драгоценный, ленту в косы, —
Отпихни его ногою босой,
Зашипи на пана, дочь, гусыней,
Выдери глаза его косые!

1936

КРОВЬ

Белый цвет вишневый отряхая,
Стал Петро перзд плетнем коханой.
Он промолвил ей, кусая губы:
— Любый я тебе или не любый?
Прогулял я трубку-носогрейку,
Проиграл я бритву-самобрейку!
Что ж! В корчме поставлю шапку на кон
И в леса подамся, к гайдамакам!

— Уходи, мужик, — сказала Ганна, —
Я кохаю не тебя, а пана. —
И шепнула, сладко улыбаясь:
— Кровь у пана в жилах — голубая!

Два денька гулял казак. На третий
У криницы ночью пана встретил,
И широкий нож по рукоятку
Засадил он пану под лопатку

Белый цвет вишневый отряхая,
Стал Петро перед плетнем коханой.
А у Ганны взор слеза туманит,
Ганна руки тонкие ломает.
— Ты скажи, казак, — пытается Ганна, —
Не встречал ли ты дорогой пана?

Острый нож в чехле кавказском светел,
Отвечает ей казак: — Не встретил. —
Нож остер, как горькая обида.
Отвечает ей казак: — Не видел.

Рукоятка у ножа резная,
Отвечает ей казак: — Не знаю.
Только ты пустое толковала,
Будто кровь у пана голубая!

1936

СТРАДАНИЯ МОЛОДОГО КЛАССИКА

Всегда ты на людях,
Как слон в зверинце,
Как муха в стакане,
Как гусь на блюде...
Они появляются из провинций, —
Способные молодые люди.

— У вас одна комната?
Ах, как мало!
Погодка стоит —
Не придумать плоше! —
Ты хмуришься
И отвечаешь вяло:
— Снимайте, снимайте свои калоши!

Ты грустно оглядываешь знакомых
И думаешь:
— Ну, добивайте сразу! —
Куда там!
Они извлекают томы
Любовных стихов,
Бытовых рассказов.

— Быть может, укажете недостаток?
Родной!
Уделите одну минуту!
Вы заняты?
Я буду очень краток:
В поэмке
Всего восемнадцать футов!..

Мелькают листы.
Вдохновенье бурно.
Чтецы невменяемы, —
Бей их, режь ли...
Ты слушаешь.
Ты говоришь:
— Недурно! —
И — лжешь.
Ибо ты от природы вежлив.

На ходиках без десяти двенадцать.
Ты громко подтягиваешь бечевку,
Но гости твои говорят:
— Признаться,
У вас так уютно!
Мы к вам с ночевкой.

Ты громко вздыхаешь!
— Ложитесь с миром! —
И думаешь
День ото дня плачевней:

Во что превратилась твоя квартира?
В ночлежку?
В родильный приют?
В харчевню?

А ночью под сердцем
Тихонько плачет
Утопленный в пресной дневной водичке
Твой стих,
Что был вовсе неплохо начат,
Но помер в тебе,
Не успев родиться.

И, стиснувши, как рукоять кинжала,
Мунштук безобиднейший,
В нервной дрожи
Ты думаешь:
«Муза уже сбежала.
Жена собирается сделать то же...»

А утром,
Когда постучит знакомый,
Ты снова в себе не найдешь сноровки
Ему на докучный вопрос:
«Вы дома?» —
Раздельно ответить:
«В командировке».

1937

БЕСЕДА

На улице пляшет дождик. Там тихо, темно и сыро.
Присядем у нашей печки и мирно поговорим.
Конечно, с ребенком трудно. Конечно, мала квартира.
Конечно, будущим летом ты вряд ли поедешь в Крым.

Еще тошноты и пятен даже в помине нету,
Твой пояс, как прежде, узок, хоть в зеркало посмотри!
Но ты по неуловимым, по тайным женским приметам
Испуганно догадалась, что у тебя внутри.

Не скоро будить он станет тебя своим плачем тонким
И розовый круглый ротик испачкает молоком.
Нет, глубоко под сердцем, в твоих золотых потемках,
Не жизнь, а лишь завязь жизни завязана узелком.

И вот ты бежишь в тревоге прямо к гомеопату.
Он лыс, как головка сыра, и нос у него в угрях,
Глаза у него навек и борода лопатой.
Он очень ученый дядя — и все-таки он дурак!

Как он самодовольно пророчит тебе победу!
Пятнадцать прозрачных капель он в склянку твою нальет.
— Пять капель перед обедом, пять капель после обеда —
И все как рукой снимает! Пляшите опять фокстрот!

Так, значит, сын не увидит, как флаг над Советом вьется?
Как в школе Первого мая ребята пляшут гурьбой?
Послушай, а что ты скажешь, если он будет Моцарт,
Этот неживший мальчик, вытравленный тобой?

Послушай, а если ночью вдруг он тебе приснится,
Приснится и так заплачет, что вся захолонешь ты,
Что жалко взмахнут в испуге подкрашенные ресницы,
И волосы разовьются, старательно завиты,
Что хлынут горькие слезы и начисто смоют краску,
Хорошую, прочную краску с темных твоих ресниц?..
Помнишь, ведь мы читали, как в старой английской
сказке

К охотнику приходили души убитых птиц.
А вдруг, несмотря на капли мудрых гомеопатов,
Непрошеной новой жизни не оборвется нить!

Как ты его поцелуешь? Забудешь ли, что когда-то
Этою же рукою старалась его убить?

Кудрявых волос, как прежде, туман золотой клубится,
Глазок исподлобья смотрит лукавый и голубой.
Пуškai за это не судят, но тот, кто убил — убийца.
Скажу тебе правду: ночью мне страшно вдвоем с тобой!

1937

ГОРБУН И ПОП

В честнóм храме опосля обедни,
Каждый день твердя одно и то ж,
Распинался толстый проповедник:
До чего, мол, божий мир хорош!
Хорошо, мол, бедным и богатым,
Рыбкам, птичкам в небе голубом!..
Тут и подошел к нему горбатый
Высохший урод с плешивым лбом.
Он сказал ему как можно кротче:
«Полно, батя! Далеко зашел!
Ты, мол, на меня взглянувши, отче,
Молви: все ли в мире хорошо?
Я-де в нем из самых из последних.
Жизнь моя пропала ни за грош!»
«Не ронши! — ответил проповедник. —
Для горбатого и ты хорош».

1937

ПЕСНЯ ПРО СОЛДАТА

Шилом бреется солдат,
Дымом греется...

Шли в побывку
Из Карпат
Два армейца.

Одному приснилось:
Мать
Стала гневаться,
А другой шел
Повидать
Красну девицу.

Под ракитой
Небольшой,
Под зеленою,
Он ту девицу
Нашел
Застрелённую.

А чумак
Уху варит
При конце реки.
«Шли тут пынче, —
Говорит, —
Офицерики.
Извели они,
Видать,
Девку гарную!..»

И подался
Тот солдат
В Красну Армию.

1938

БЕССМЕРТИЕ

Кем я был? Могильною травую?
Хрупкой галькою береговую?
Круглобоким облачком над бездной?
Ноздреватую рудой железной?

Та трава могильная сначала
Ветерок дыханием встречала,
Тучка плакала слезою длинной,
Пролетая над родной долиной.

И когда я говорю стихами —
От кого в них голос и дышанье?
Этот голос — от прабабки-тучи,
Эти вздохи — от травы горючей!

Кем я буду? Комом серой глины?
Белым камнем посреди долины?
Струйкой, что не устает катиться?
Перышком в крыле у певчей птицы?

Кем бы я ни стал и кем бы ни был —
Вечен мир под этим вечным небом:
Если стану я водой зеленой —
Зазвенит она одушевленно,

Если буду я густой травою —
Побежит она волной живою.

В мире всё бессмертно: даже гнилость,
Отчего же людям смерть приснилась?

1938

* * *

Прощай, прощай, моя юность,
Звезда моя, жизнь, улыбка!
Стала рукой мужчины
Мальчишеская рука.
Ты прозвенела, юность,
Как дорогая скрипка
Под легким прикосновеньем
Уверенного смычка.
Ты промелькнула, юность,
Как золотая рыбка,
Что канула в сине море
Из сети у старика!

1938

ЗИМНЕЕ

Экой снег какой глубокий!
Лошадь дышит горячо.
Светит месяц одинокий
Через левое плечо.

Пруд окован крепкой бронью,
И уходят от воды
Вправо — крестики вороньи,
Влево — заячьи следы.

Гнется кустик на опушке,
Блещут звезды, мерзнет лес,
Тут снимал перчатки Пушкин
И крутил усы Дантес.

Раздается на полянке
Волчьих свадеб дальний вой.

Мы летим в ковровых санках
По дороге столбовой.

Ускакали с черноокой
И — одни... Чего ж еще?
Светит месяц одинокий
Через левое плечо.

Неужели на гулянку
С колокольцем под дугой
Понесется в тех же санках
Завтра кто-нибудь другой?

И усы ладонью тронет,
И увидит у воды
Те же крестики вороны,
Те же заячьи следы?

На березах грачи гнезда
Да сорочьи терема?..
Те же волки, те же звезды,
Та же русская зима!

На погост он мельком глянет,
Где ограды да кресты.
Мельком глянет, нас помянет:
Жили-были я да ты!..

И прижмется к черноокой,
И задышит горячо.
Глянет месяц одинокий
Через левое плечо.

1938

ГЛУХАРЬ

Выдь на зорьке и ступай на север
По болотам, камушкам и мхам.
Распустив хвоста колючий веер,
На сосне красуется глухарь.

Тонкий дух весенней благодати,
Свет звезды — как первая слеза...
И глухарь, кудесник бородатый,
Закрывает желтые глаза.

Из дремотных облаков исторгла
Яркий блеск холодная заря,
И звенит, чумная от восторга,
Зоревая песня глухаря.

Счастлив тем, что чувствует и дышит,
Красотой восхода упоен, —
Ничего не видит и не слышит,
Ничего не замечает он!

Он поет листву купав болотных,
Паутинку, белку и зарю,
И в упор подкравшийся охотник
Из бердапки бьет по глухарю...

Может, так же в счастья день желанный,
В час, когда я буду петь, горя,
И в меня ударит смерть неожиданно,
Как его дробинка — в глухаря.

1938

Когда я уйду, —
Я оставлю мой голос
На черном кружке.
Заведи патефон,
И вот,
Под иголочкой,
Тонкой, как волос,
От гибкой пластинки
Отделится он.

Немножко глухой
И немножко картавый,
Мой голос тебе
Прочитает стихи,
Окликнет по имени,
Спросит:
«Устала?»,
Наскажет
Немало смешной чепухи.

И сколько бы ни было
Злого, дурного,
Печалей,
Обид —
Ты забудешь о них.
Тебе померещится,
Будто бы снова
Мы ходим в кино,
Разбиваем цветник.

Лицо твое
Тронет волненья румянец.
Забывшись,
Ты тихо шепнешь:
«Покажись!..»

Пластинка хрипнет
И окончит свой танец —
Короткий,
Такой же недолгий,
Как жизнь.

1939

ЗЯБЛИК

Весной в саду я зяблика поймал.
Его лучок захлопнул пастью волчьей.
Лесной певец, он был пуглив и мал,
Но, как герой, неволю встретил молча.

Он петь привык лесное торжество
Под светлым солнышком на клейкой ветке...
Нет! Золотая песенка его
Не прозвучит в убогой этой клетке!

Упрямец! Он не походил на нас,
Больных людей, уступчивых и дряблых,
Нахохлившись, он молчаливо гас,
Невольник мой, мой горделивый зяблик.

Горсть муравьиных лакомых яиц
Не вызвала его счастливой трели.
В глаза ручных моих домашних птиц
Его глаза презрительно смотрели.

Он все глядел на поле за окном
Сквозь частых проволок густую сетку,
Но я задернул грубым полотном
Его слегка качавшуюся клетку.

И, чувствуя, как за его тюрьмой
Весна цветет все чище, все чудесней, —
Он засвистал!.. Что делать, милый мой?
В неволе остается только песня!

1939

ОСТАНОВКА У АРБАТА

Профиль юности бессмертной
Промелькнул в окне трамвая.

М. Г о л о д н ы й

Я стоял у поворота
Рельс, бегущих от Арбата,
Из трамвая глянул кто-то
Красногубый и чубатый.
Как лицо его похоже
На мое — сухое ныне!..
Только чуточку моложе,
Веселее и невинней.
А трамвай — как сдует ветром,
Он качнулся, уплывая.
Профиль юности бессмертной
Промелькнул в окне трамвая.
Минут годы. Подойдет он —
Мой двойник — к углу Арбата.
Из трамвая глянет кто-то
Красногубый и чубатый,
Как и он, в костюме синем,
С полевой сумкой тоже,
Только чуточку невинней,
Веселее и моложе.
А трамвай — как сдует ветром,
Он промчится, завывая..
Профиль юности бессмертной
Промелькнет в окне трамвая.

На висках у нас, как искры,
Блещут первые седины,
Старость нам готовит выстрел
На последнем поединке.
Даже маленькие дети
Станут седые и горбаты,
Но останется на свете
Остановка у Арбата,
Где, ни разу не померкнув,
Непрестанно оживая,
Профиль юности бессмертной
Промелькнет в окне трамвая!

1939

КЛЕТКА

Пасмурный щегол и шустрый чижик
Зерна щелкают, водою брызжут —
И никак не уживутся вместе
В тесной клетке на одном насесте.

Много перьев красных и зеленых
Потеряли чижик и щегленок,
Так и норовят пустые птицы
За хохлы друг другу ухватиться.

Глупые пичуги! Неужели
Не одно зерно вы в клетке ели,
Не в одной кормушке воду пили?..
Что ж неволю вы не поделили?

1939

ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ

Улетают птицы за море,
Миновало время жатв,
На холодном сером мраморе
Листья желтые лежат.

Солнце спряталось за ситцевой
Занавескою небес,
Черно-бурою лисицею
Под горой улегся лес.

По воздушной тонкой лесенке
Опустился и повис
Над окном — ненастья вестником —
Паучок-парашютист.

В эту ночь по кровлям тесаным,
В трубах песни заводя,
Заскребутся духи осени,
Стукнут пальчики дождя.

В сад, покрытый ржавой влагою,
Завтра утром выйдешь ты
И увидишь — за ночь — наголо
Облетевшие цветы.

На листе рябин продрогнувших
Заблестит холодный пот.
Дождик, серый, как воробышек,
Их по ягодке склюет.

1937—1941

БАБКА МАРИУЛА

После ночи пьяного разгула
Я пошел к Проклятому ручью,
Чтоб цыганка бабка Мариула
Мне вернула молодость мою.

Бабка курит трубочку из глины,
Над болотом вьются комары,
А внизу горят среди долины
Кочевое табора костры.

Черный пес, мне под ноги бросаясь,
Завизжал пронзительно и зло...
Молвит бабка: «Знаю все, красавец,
Что тебя к старухе привело!

Не скупись да рублик мне отщелкай,
И, как пыль за ветром, за тобой
Побежит красotka с рыжей челкой,
С пятнышком родимым над губой!»

Я ответил: «Толку в этом мало!
Робок я, да и не те года...»
В небесах качнулась и упала
За лесок падучая звезда.

«Я сидел, — сказал я, — на вокзалах,
Ездил я в далекие края.
Ни одна душа мне не сказала,
Где упала молодость моя!

Ты наводишь порчу жабым зубом,
Клады рыть указываешь путь.
Может, юность, что идет на убыль,
Как-нибудь поможешь мне вернуть?»

Отвечала бабка Мариула:
«Не возьмусь за это даже я!
Где звезда падучая мелькнула,
Там упала молодость твоя!»

1941, 1 июня

НОЧЬ В УБЕЖИЩЕ

Ложисься спать, когда в четыре
Дадут по радио отбой.
Умрешь — единственная в мире
Всплакнет сирена над тобой.

Где звезды, что тебе знакомы?
Их нет, хотя стоит июль:
В пространствах видят астрономы
Следы трассирующих пуль.

Как много тьмы, как света мало!
Огни померкли, и одна
Вне досяженья трибунала
Мир демаскирует луна.

...Твой голос в этом громе тише,
Чем писк утопленных котят...
Молчи! Опять над нашей крышей
Бомбардировщики летят!

1941, 13 августа

ОСЕНЬ 41-ГО ГОДА

Еще и солнце греет что есть силы,
И бабочки трепещут на лету,
И женщины взволнованно красивы,
Как розы, постоявшие в спирту.

Но мчатся дни. Проходит август краткий.
И мне видны отчетливо до слез
На лицах женщин пятна лихорадки —
Отметки осени на листьях роз.

Ах, осень, лета скаредный наследник!
Она в кулак готова все сгрести.
Недаром ~~солнце~~ этих дней последних
Спешит дождечь, и розы — доцвести.

А женщины, что взглядом ласки просят,
Не опуская обреченных глаз, —
Предчувствуют, что, верно, эта осень
Окажется последней и для нас!

1941, 19 августа

ГЛУХОТА

Война бетховенским пером
Чудовищные ноты пишет.
Ее октав железный гром
Мертвец в гробу — и тот услышит!

Но что за уши мне даны?
Оглохший в громе этих схваток,
Из сей симфонии войны
Я слышу только плач солдаток.

1941, 2 сентября

ПОГОДА

Ни облачка! Томясь любовной мукой,
Кричат лягушки, пахнет резеда.
В такую ночь и самый близорукий
Иглу в траве отыщет без труда.

А как луна посеребрила воду!
Светло кругом, хоть по руке гадай...
И мы ворчим: «Послал же черт погоду!
В такую ночь бомбежки ожидай».

1941, 8 сентября

ЖИЛЬЕ

Ты заскучал по дому? Что с тобою?
Еще вчера, гуляка из гуляк,
Ты проклинал дырявые обои
И эти стены с музыкой в щелях!

Здесь слышно все, что делают соседи:
Вот — грош упал, а вот скрипит диван.
Здесь даже в самой искренней беседе
Словца не скажешь — разве если пьян!

Давно ль ты врал, что угол этот нищий
Осточертел тебе до тошноты?
Давно ль на это мрачное жилище
Ты громы звал?.. А что, брат, скажешь ты,

Когда, смешавшись с беженскою голью,
Забыв и чин и звание свое,
Ты вдруг с холодной бесприютной болью
Припомнишь это бедное жилье?

1941, 23 сентября

ДЕВОЧКА В ПРОТИВОГАЗЕ

Только глянула — и сразу
Напрямик сказала твердо:
«Не хочу противогаса —
У него слоновья морда!»

Дочь строптивую со вздохом
Уговаривает мама:
«Быть капризной — очень плохо!
Отчего ты так упряма?»

Я прошу тебе проказы
И куплю медовый пряник.
Походи в противогазе!
Привыкай к нему заране...»

Мама делается строже,
Дочка всхлипывает тихо:
«Не хочу я быть похожей
На противную слонику».

Мать упрямице курносоЙ
Подарить сулила краски,
И торчат льняные косы
С двух сторон очкастой маски.

Между стекол неподвижных
Набок свис тяжелый хобот...
Объясни-ка ей, что ближних
Люди газом нынче гребят,

Что живет она в эпоху,
Где убийству служит разум...
Быть слоном теперь неплохо:
Кто его отравит газом?

1941, 1 октября

БАБЬЕ ЛЕТО

Наступило бабье лето —
Дни прощального тепла.
Поздним солнцем отогрета,
В щелке муха ожила.

Солнце! Что на свете краше
После зябкого денька?..
Паутинок легких пряжа
Обвилась вокруг сучка.

Завтра хлынет дождик быстрый,
Тучей солнце заслоня.
Паутинкам серебристым
Жить осталось два-три дня.

Сжался, осень! Дай нам света!
Защити от зимней тьмы!
Пожалей нас, бабье лето:
Паутинки эти — мы.

1941, 4 октября

ПОЛУСТАНОК

Седой военный входит подбоченясь
В штабной вагон, исписанный мелком.
Рыжебородый тощий ополченец
По слякоти шагает босиком.

Мешком висит шинель на нем, сутулом,
Блестит звезда на шапке меховой.
Глухим зловещим непрерывным гулом
Гремят орудья где-то под Москвой.

Проходит поезд. На платформах — танки.
С их башен листья блеклые висят.
Четвертый день на тихом полустанке
По новобранцам бабы голосят.

Своих болезных, кровных, богом данных
Им провожать на запад и восток...
А беженцы сидят на чемоданах,
Ребят качают, носят кипяток.

Куда они? В Самару — ждать победу?
Иль умирать?.. Какой ни дай ответ, —
Мне все равно: я никуда не еду.
Чего искать? Второй России нет!

1941, 11 октября

УГОЛЕК

Минуют дни незаметно,
Идут года не спеша...
Как искра, ждущая ветра,
Незримо тлеет душа.

Когда налетевший ветер
Раздует искру в пожар,
Слепые люди заметят:
Не зря уголек лежал!

1941, 23 октября

В ПАРКЕ

Старинной купаленки шаткий настил,
Бродя у пруда, я ногою потрогал,
Под этими липами Пушкин грустил,
На этой скамеечке сиживал Гоголь.

У корней осин показались грибы,
Сентябрьское солнышко греет нежарко.
Далекий раскат орудийной стрельбы
Доносится до подмосковного парка.

Не смерть ли меня окликает, грозя
Вот-вот навалиться на узкие плечи?
Где близкие наши и наши друзья?
Иных уже нет, а другие далече!..

Свистят снегири. Им еще незнаком
Раскатистый гул, отдаленный и слабый.
Наверно, им кажется, будто вальком
Белье выбивают на озере бабы.

Мы ж знаем, что жизнь нашу держит в руках
Слепая судьба и что жребий наш выпал...
Стареющий юноша в толстых очках
Один загляделся на вечные липы.

1941, 3 ноября

СЛЕДЫ ВОЙНЫ

Следы войны неизгладимы!..
Пускай окончится она,
Нам не пройти спокойно мимо
Незатемненного окна!

Юнцы, выдавшие не много,
Начнут подтрунивать слегка,
Когда нам вспомнится тревога
При звуке мирного гудка.

Счастливыцы! Кто из них поверит,
Что рев сирен кидает в дрожь,
Что стук захлопнувшейся двери
На выстрел пушечный похож?

Вдолби-ка им — как трудно спичка
Порой давалась москвичам
И отчего у нас привычка
Не раздеваться по ночам?

Они, минувшего не поняв,
Запишут в скряги старика,
Что со стола ребром ладони
Сметает крошки табака.

1941, 25 ноября

АРХИМЕД

Нет, не всегда смешон и узок
Мудрец, глухой к делам земли:
Уже на рейде в Сиракузах
Стояли римлян корабли.

Над математиком курчавым
Солдат занес короткий нож,
А он на отмели песчаной
Окружность вписывал в чертеж.

Ах, если б смерть — лихую гостью —
Мне так же встретить повезло,
Как Архимед, чертивший тростью
В минуту гибели — число!

1941, 5 декабря

ГРИПП

Меня томит гриппок осенний,
Но в сердце нет былой тоски;
Сплелись в цепочку воскресений
Недуга светлые деньки.

Я рад причудливой бутылке
С микстурой, что уже не впрок,
Свинцовой тяжести в затылке,
Тому, что грудь теснит жарок.

Ведь смерть нас каждый вечер дразнит,
Ей в эту осень повезло!
Не потому ли, точно в праздник,
Вокруг так чисто и светло?

Как бел снежок в далекой чаше!
Как лед синее у реки!..
Да: впрямь всего бокала слаще
Винца последние глотки!

1941, 12 декабря

СОЛДАТ

Гусар, в перестрелки бросаюсь,
Стихи на биваках писал.
В гостиных пленя красавиц,
Бывал декабристом гусар.

А нынче завален по горло
Военной работой солдат.
Под стая пневматическим сверлам
Тяжелый его автомат.

Он в тряском товарном вагоне
Сидит, разбирая чертеж,
В замасленном комбинезоне,
На сварщика чем-то похож.

Ну, что же! Подсчитывай, целься,
Пали в механических птиц!
Ты вышел из книги Уэльса —
Не с ярких толстовских страниц.

С гусарами схож ты не очень:
Одет в меховые штаны,
Ты просто поденный рабочий
Завода страданий — войны.

1941, 22 декабря

* * *

Это смерть колотит костью
По развершимся гробам:
«Дранг нах Остен!
Дранг нах Остен!» —
Выбивает барабан.

Лезут немцы, и пойми ты:
Где изъяны в их броне?..
«Мессершмитты»,
«Мессершмитты»
Завывают в вышине.

Шарит враг незванным гостем
По домам и погребам...
«Дранг нах Остен!
Дранг нах Остен!» —
Выбивает барабан.

Толпы спят на полустанках,
Пол соломой застеля.
Где-то близко вражьи танки
Пашут русские поля.

Толстый унтер хлещет в злости
Баб смоленских по зубам...
«Дранг нах Остен!
Дранг нах Остен!» —
Выбивает барабан.

Рвутся бомбы. Дети плачут.
Первой крови горек вкус.
Воеет пьяный автоматчик:
«Рус капут!
Сдавайся, рус!..»

1941

1941

Ты, что хлеб свой любовно выращивал,
Пел, рыбачил, глядел на зарю.
Голосами седых твоих пращуров
Я, Россия, с тобой говорю.

Для того ль новосел заколачивал
В первый сруб на Москве первый гвоздь,
Для того ль астраханцам не плачивал
Дани гордый владимирский гость;

Для того ль окрест города хитрые
Выводились заслоны да рвы
И палили мы пеплом Димитрия
На четыре заставы Москвы;

Для того ль Ермаковы охотники
Белку били дробинкою в глаз;
Для того ль пугачевские сотники
Смердам чли Государев Указ;

Для того ли, незнамы-неведомы,
Мы в холодных могилах лежим,
Для того ли тягались со шведами
Ветераны Петровых дружин;

Для того ли в годину суровую,
Как пришел на Москву Бонапарт,
Попалили людишки дворовые
Огоньком его воинский фарт;

Для того ль стыла изморозь хрусткая
У пяти декабристов на лбу;
Для того ль мы из бед землю Русскую
На своем вывозили горбу;

Для того ль сеял дождик холодненький,
Точно слезы родимой земли,
На этап бритолобых колодников,
Что по горькой Владимирке шли;

Для того ли под ленинским знаменем
Неусыпным тяжелым трудом

Перестроили мы в белокаменный
Наш когда-то бревенчатый дом;

И от яркого натиска вражьего
Отстояли его для того ль, —
Чтоб теперь истлевать тебе заживо
В самой горькой из горьких неволь,

Чтоб, тараша глаза оловянные,
Муштровала ребят немчура,
Чтобы ты позабыл, что славянами
Мы с тобой назывались вчера?..

Бейся ж так, чтоб пришельцы поганые
К нам ходить заказали другим.
Неприятелям на поругание
Не давай наших честных могил!

Оглянись на леса и на пажити,
Выдвигаясь с винтовкою в бой:
Все, что кровным трудом нашим
нажито, —
За твоею спиной, за тобой!

Чтоб добру тому не быть растащenu,
Чтоб Отчизне цвести и сиять,
Голосами седых твоих пращуров
Я велю тебе насмерть стоять!

1942, февраль

НЕ ПЕЧАЛЬСЯ

Не печалься! Скоро, очень скоро
Возвратится мирное житье:
Из Уфы вернутся паникеры
И тотчас забудут про нее.

Наводя на жизнь привычный глянец,
Возвратят им старые права,
Полноту, солидность и румянец
Им вернет ожившая Москва.

Засияют окна в каждом доме,
Патефон послышится вдали...
Не печалься: все вернется — кроме
Тех солдат, что в смертный бой пошли.

1942, 3 марта

ХЛЕБ И ЖЕЛЕЗО

Хлеб зреет на земле, где солнце и прохлада,
Где звонкие дожди и щебет птиц в кустах.
А под землей, внизу, поближе к недрам ада,
Железо улеглось в заржавленных пластах.

Благословляем хлеб! Он — наша жизнь и
пища.
Но как не проклинать ту сталь, что наповал
Укладывает нас в подземные жилища?..
Пшеницу сеял бог. Железо черт ковал!

1942, 7 апреля

НЕТ!

Вон та
Недалекая роща,
Вся в гнездах
Крикливых грачей,
И холм этот,
Кашкой заросший, —
Уж если не наш он,
Так чей?

Поди .
И на старом кладбище
Родные могилы спроси:
Ужель тебе
Сирым и нищим
Слоняться опять
По Руси?

Неужто
Наш кряжистый прадед,
Татарскую,
Смявший басму,
Сказал бы:
«Пусть судит и рядит
Чужак
В моем крепком дому»?

Затем ли
Над зыбкою с лаской
Склонялась
Румяная мать,
Чтоб перед солдатом
Германским
Шапчонку
Мальчишке ломать?

К тому ли
Наш край нами нажит,
Чтоб жег его
Злобный сосед?..
Спроси —
И народ тебе скажет
Тысячеголосое:
Нет!

1942, 6 мая

СТАРАЯ ГЕРМАНИЯ

Где он теперь, этот домик ветхий,
Зяблик, поющий в плетеной клетке,
Красный шиповник на свежей ветке
И золотистые косы Гретхен?

Пела гитара на старом Рейне,
Бурши читали стихи в кофейне,
Кутая горло платком пуховым,
У клавикордов сидел Бетховен.

Думал ли он, что под каждой крышей
Немцами будут пугать детишек?

1942, 19 мая

ПРИРОДА

Что делать? Присяду на камень,
Послушаю иволги плач.
Брожу у забитых досками,
Жильцами покинутых дач.

Еще не промчалось и года,
Как смолкли шаги их вдали.
Но, кажется, рада природа,
Что люди отсюда ушли.

Соседи в ночи незаметно
Заборы снесли на дрова,
На гладких площадках крокетных
Растет, зеленея, трава.

Забывши хозяев недавних,
Весь дом одряхлел и заглох,

На стенах, на крышах, на ставнях
Уже пробивается мох.

Да зеленью, вьющейся дико,
К порогу забившей пути,
Повсюду бушует клубника,
Что встарь не хотела расти.

И если, бывало, в скворечнях
Скворцы приживались с трудом,
То нынче от зябликов вешних
В саду настоящий содом!

Тут, кажется, с нашего века
Прошли одичанья века...
Как быстро следы человека
Стирает природы рука!

1942, 22 июня

БОГ

Скоро-скоро, в желтый час заката,
Лишь погаснет неба бирюза,
Я закрою жадные когда-то,
А теперь — усталые глаза.

И когда я стану перед богом,
Я скажу без трепета ему:
«Знаешь, боже, зла я делал много,
А добра, должно быть, никому.

Но смешно попасть мне к черту в руки,
Чтобы он сварил меня в котле:
Нет в аду такой кромешной муки,
Чтоб не знал я горше — на земле!»

1942, 10 июля

РОДИНА

Весь край этот, милый навеки,
В стволах белокорых берез,
И эти студеные реки,
У плеса которых ты рос,

И темная роща, где свищут
Всю ночь напролет соловьи,
И липы на старом кладбище,
Где предки уснули твои,

И синий ласкающий воздух,
И крепкий загар на щеках,
И деды в андреевских звездах,
В высоких седых париках,

И рожь на полях непчатых,
И эта хлеб-соль средь стола,
И псковских соборов стрельчатых
Причудливые купола,

И фрески Андрея Рублева
На темной церковной стене,
И звонкое русское слово,
И в чарочке пенник на дне,

И своды лабазов просторных,
Где в сене — раздолье мышам,
И эта — на ларчиках черных —
Кудрявая вязь палешан,

И дети, что мчатся, глазаея,
По следу солдатских колонн,
И в старом полтавском музее
Полотнища шведских знамен,

И санки, чтоб вихрем летели!
И волка опасливый шаг,
И серьги вчерашней метели
У зябких осинок в ушах,

И ливни — такие косые,
Что в поле не видно ни зги, —
Запомни:
Все это — Россия,
Которую топчут враги.

1942, 16 августа

КОЛОКОЛ

В колокол, мирно дремавший,
Тяжелая бомба с размаха
Грянула...

А. К. Толстой

В тот колокол, что звал народ на вече,
Вися на башне у кривых перил,
Попал снаряд, летевший издалече,
И колокол, сердясь, заговорил.

Услышав этот голос недовольный,
Бас, потрясавший гулкое нутро,
В могиле вздрогнул мастер колокольный,
Смешавший в тигле медь и серебро.

Он знал, что в дни, когда стада тучнели
И закрома ломились от добра,
У колокола в голосе звенели
Малиновые ноты серебра.

Когда ж врывались в Новгород соседи
И был весь город пламенем объят,

Тогда глубокий звон червонной меди
Звучал, как ныне... Это был набат!

Леса, речушки, избы и покосцы
Виднелись с башни каменной вдали.
По большакам сновали крестonosцы,
Скот уводили и амбары жгли...

И рухнули перил столбы косые,
И колокол гудел над головой
Так, словно то сама душа России
Своих детей звала на смертный бой!

1942, 30 августа

КРАСОТА

Эти гордые лбы винчианских мадонн
Я встречал не однажды у русских крестьянок,
У рязанских молодок, согбенных трудом,
На току молотивших снопы спозаранок.

У вихрастых мальчишек, что ловят грачей
И несут в рукаве полушубка отцова,
Я видал эти синие звезды очей,
Что глядят с вдохновенных картин Васнецова.

С большака перешли на отрезок холста
Бурлаков этих репинских ноги босые...
Я теперь понимаю, что вся красота —
Только луч того солнца, чье имя — Россия!

1942, 5 сентября

Да, и такой, моя Россия...

А. Блок

Хочешь знать, что такое Россия —
Наша первая в жизни любовь?
Милый друг! Это ребра косые
Полосатых шлагбаумных столбов.
Это щебет в рябиннике горьком,
Пар от резвых коней на бегу,
Это желтая заячья зорька,
След на сахарном синем снегу.
Это пахарь в портах полотняных,
Пес, что воеет в ночи на луну,
Это слезы псковских полонянок
В безутешном ливонском плену,
Это горькие всхлипы гармоник,
Свет далеких пожаров ночных,
Это — кашка, татарка и донник
На высоких могилах степных.
Это — эхо от песни усталой,
Облаков перелетных тоска,
Это свист за далекой заставой
Да лучина в окне кабака.
Это хлеб в узелке новобранца,
Это туз, что нашит на плечо,
Это дудка в руке Самозванца,
Это клетка, где жил Пугачев.
Да, страна наша не была раем:
Нас к земле прибывало дождем.
Но когда мы ее потеряем,
Мы милей ничего не найдем.

1942, 18 сентября

* * *

Я не знаю, что на свете проще?
Глушь да топь, коряги да пеньки.
Старая березовая роща,
Редкий лес на берегу реки.

Капельки осеннего тумана
По стволам текут ручьями слез.
Серый волк царевича Ивана
По таким местам, видать, и вез.

Ты родись тут Муромцем Илюшей,
Ляг на мох и тридцать лет лежи.
Песни пой, грибы ищи да слушай,
Как в сухой траве шуршат ужи.

На сто верст кругом одно и то же:
Глушь да топь, чижи да дикий хмель...
Отчего ж нам этот край дороже
Всех заморских сказочных земель?

1942, 20 сентября

* * *

Скинуло кафтан зеленый лето,
Отсвистели жаворонки всласть.
Осень, в шубу желтую одета,
По лесам с метелкою прошлась,
Чтоб вошла рачительной хозяйкой
В снежные лесные герема
Щеголиха в белой разлетайке —
Русская румяная зима!

1942, 1 октября

КЛАДЫ

Смоленск и Тула, Киев и Воронеж
Своей прошедшей славою горды.
Где нашу землю посохом ни тронешь —
Повсюду есть минувшего следы.

Нас дарит кладами бывшее время:
Копни лопатой — и найдешь везде:
Тут — в Данциге откованное стремя,
А там — стрелу, каленную в Орде.

Зарыли в землю много ржавой стали
Все, кто у нас попиrowал в гостях!
Как памятник стоит на пьедестале,
Так встала Русь на вражеских костях.

К нам, древней славы неусыпным стражам,
Взывает наше прошлое, веля,
Чтоб на заржавленном железе вражьем
И впредь стояла русская земля!

1942, 3 октября

АЛЕНУШКА

Стойбище осеннего тумана,
Вотчина ночного соловья,
Тихая царевна Несмеяна —
Родина неяркая моя!

Знаю, что не раз лихая сила
У глухой околицы в лесу
Ножичек сапожный заносила
На твою нетленную красу.

Только все ты вынесла и снова
За раздольем нив, где зреет рожь,
На пеньке у омута лесного
Песенку Аленушки поешь...

Я бродил бы тридцать лет по свету,
А к тебе вернулся б умирать,
Потому что в детстве песню эту,
Знать, и надо мной певала мать!

1942, 9 октября

* * *

Россия! Мы любим неяркий свет
Твоих сиротливых звезд.
Мы косим твой хлеб. Мы на склоне лет
Ложимся на твой погост.

Россия! Ты — быстрый лесной родник,
Степной одинокий стог,
Ты — первый ребячески звонкий вскрик,
Глухой стариковский вздох.

Россия! Мы все у тебя в долгу.
Ты каждому — трижды мать.
Так можем ли мы твоему врагу
В служанки тебя отдать?..

На жизнь и на смерть пойдем за тобой
В своей и чужой крови!
На грозный бой, на последний бой,
Россия, благослови!

1942, декабрь

ЗАВЕТ

В час испытаний
Поклонись отчизне
По-русски,
В ноги,
И скажи ей:
«Мать!
Ты жизнь моя!
Ты мне дороже жизни!
С тобою — жить,
С тобою — умирать!»

Будь верен ей.
И, как бы ни был длинен
И тяжек день военной маеты, —
Коль пахарь ты,
Отдай ей все, как Минин,
Будь ей Суворовым,
Коль воин ты.

Люби ее.
Клянись, как наши деды,
Горой стоять
За жизнь ее и честь,
Чтобы сказать
В желанный час победы:
«И моего
Тут капля меда есть!»

1942

ОКТЯБРЬСКАЯ БИТВА

Мы песком
На чердаках гасили
Пламя вражьих бомб
В тревоги час.
Фронтовые
Белые автомобили
В гости к смерти
Увозили нас.

Из друзей,
Ушедших в эту осень,
Не один
Простился с головой, —
Но остановили
Двадцать восемь
Вражеские танки
Под Москвой.

Нас босыми
По снегу водили
На допрос и пытку
Из тюрьмы...
Все равно:
Враги не победили!
В этой битве
Победили
Мы!

1942

ДЕТИ

Страшны еще
Войны гримасы,
Но мартовские дни —
Ясны,
И детвора
Играет в «классы» —
Всегдашнюю
Игру весны.

Среди двора
Вокруг воронки
Краснеют груды кирпича,
А ребятишки
Чуть в сторонке
Толпятся,
Весело крича.

Во взгляде женщины
Несмелом
Видна печаль,
А детвора
Весь день рисует
Клетки мелом
Среди широкого двора.

Железо,
Свернутое в свиток,
Напоминает
О враге,
А мальчуган
На стеклах битых
Танцует
На одной ноге...

Что ж,
Если нас

Враги принудят,
Мы вроем надолбы
В асфальт,
Но дни пройдут —
И так же будет
Звенеть
Беспечный
Детский алыт!

Он — вечен!
В смерть душа не верит:
Жизнь не убьют,
Не разбомбят!..
У них эмблема —
Крест и череп.
Мы —
За бессмертный
Смех
Ребят!

1942

ДНЕПРОПЕТРОВСК

На двор выходит
Школьница в матроске,
Гудят над садом
Первые шмели.
Проходит май...
У нас в Днепропетровске
Уже, должно быть,
Вишни зацвели.

Да, зацвели,
Но не как прошлым летом,
Не белизной,

Ласкающею глаз.
Его сады
Кроваво-красным цветом
Нерадостно
Цветут на этот раз!

И негде
Соловьям перекликаться:
У исполкома
Парк
Сожжен дотла,
И на ветвях
Раскидистых акаций
Повешенных
Качаются тела.

Как страшно знать,
Что на родных бульварах,
Где заблудилась
Молодость моя,
Пугают женщин,
От печали старых,
Остроты
Пьяного офицерья...

Друзья мои!
Я не могу забыть их.
Я не прощу
Их гибель палачам:
Мне десять тысяч
Земляков убитых
Спать не дают
И снятся по ночам!

Я думаю:
Где их враги убили?
В Шевченковском,

На берегу Днепра?
У стен еврейского кладбища
Или
Вблизи казарм,
Где сам я жил вчера?

Днепропетровск!
Ужель в твоих кварталах,
Коль не сейчас,
Так в будущем году,
Из множества
Друзей моих бывалых
Я никого,
Вернувшись,
Не найду?

Не может быть!
Всему есть в жизни мера!
Недаром же
С пожарной каланчи
На головы
Немецких офицеров
По вечерам
Слетают кирпичи.

Мои друзья,
Как их враги ни мучай,
Ведут борьбу,
И твердо знаю я:
Те,
Кто не носит
Свастики колючей,
В Днепропетровске
Все
Мои друзья!

1942

ДУМА О РОССИИ

Широка раскинулась Россия,
Много бед Россия выносила:
На нее с востока налетали
Огненной метелицей татары,
С запада, затмив щитами солнце,
Шли стеною на нее ливонцы.
«Вот ужо, — они ее пугали, —
Мы в песок сотрем тебя ногами!
Погоди, мол, вырастет крапива,
Где нога немецкая ступила...»

Бил дозорный в било на Пожаре,
К борзым коням ратники бежали,
Выводил под русским небом синим
Ополченье тороватый Минин,
От неволи польской и татарской
Вызволяли Русь Донской с Пожарским,
Смуглая рука царя Ивана
Крестonosцев по щекам бивала.
И чертили по степным яругам
Коршуны над ними круг за кругом,
Их клевало на дорогах тряских
Воронье в монашских черных рясах,
И вздымал над битой вражьей кликой
Золотой кулак Иван Великий...

Сеял рожь мужик в портах посконных,
И Андрей Рублев писал иконы,
Русичи с глазами голубыми
На зверье с рогатиной ходили,
Федька Конь, смиряя буйный норов,
Строил чудотворный Белый город,
Плошка тлела в слюдяном оконце,
Девки шли холсты белить на солнце,
Пели гусли вещею Баяна

Славу прошлых битв, и Русь стояла,
И Москва на пепле выростала,
Точно голубятня золотая...

Нынче вновь кривые зубы точит
Враг на русский край. Он снова хочет
Выложить костями нас в ратном поле,
Волю отобрать у нас и долю,
Чтобы мы не пели наших песен,
Не владели ни землей, ни лесом,
Чтоб влекла орда тевтонов пьяных
Наших жен в шатры, как полонянок,
Чтобы наши малые ребята
От поклонов сделались горбаты,
Чтоб лишь странники брели босые
По местам, где встарь была Россия...

Не бывать такому сраму, братцы!
Грудью станем! Будем насмерть драться!
Изведем врага! Штыком заколем!
Пулею прошьем! Забьем дреколъем!
В землю втопчем! Загрызем зубами,
А не будем у него рабами!
Ястреб нам крылом врага укажет,
Шелестом трава о нем расскажет,
Даль заманит, выдаст конский топот,
Русская река его утопит...
Не испить врагу шеломом Дона!
Русские не склонятся знамена!
Будем биться так, чтоб видно было:
В мире нет сильнее русской силы!
Чтоб остались от орды поганой
Только безыменные курганы,
Чтоб вовек стояла величаво
Мать Россия, наша жизнь и слава!

1942

УБИТЫЙ МАЛЬЧИК

Над проселочной дорогой
Пролетали самолеты...
Мальчуган лежит у стога,
Точно птенчик желторотый.
Не успел малыш на крыльях
Разглядеть кресты паучьи.
Дали очередь — и взмыли
Вражьи летчики за тучи...
Все равно от нашей мести
Не уйдет бандит крылатый!
Он погибнет, даже если
В щель забьется от расплаты.
В полдень, в жаркую погоду
Он воды испить захочет,
Но в источнике не воду —
Кровь увидит вражий летчик.
Слыша, как в печи горячей
Завывает зимний ветер,
Он решит, что это плачут
Им расстрелянные дети.
А когда, придя сторонкой,
Сядет смерть к нему на ложе, —
На убитого ребенка
Будет эта смерть похожа.

1942

ФЮРЕР

Неужели он был ребенком,
Пил, как все, молоко — и рос
С детским пухом на тельце тонком,
В светлых капельках детских слез?

И, вместилище всякой скверны,
Пропать зла без краев и дна, —
Неужели сказал он первым
Слово «мама», а не «война»?

Нет! Зачатый тупицей прусским
После выпивки в кабаке,
Он родился с кровавым сгустком
В желтом сморщенном кулачке.

И, явившись из тьмы утробной
В мир сверкающий, стал кричать
Так визгливо, так адски злобно,
Что его испугалась мать.

1942

МОРОЗ НА СТЕКЛАХ

На окнах, сплошь заиндевевших,
Февральский выписал мороз
Сплетенье трав молочно-белых
И серебристо-сонных роз.

Пейзаж тропического лета
Рисует стужа на окне.
Зачем ей розы? Видно, это
Зима тоскует о весне.

1943, 7 февраля

НОЧНОЙ ПЛАЧ

На дворе — осенней ночи гнилость,
Затрещал сверчок. Огонь погас.
Мой хороший! Что тебе приснилось
В этот самый сумеречный час?

Твой мирок не то, что наш, громоздкий:
Весь его рукой накрыть легко.
В нем из розовой шершавой соски
Теплое струится молочко.

Отчего ж дрожат твои ресницы
И дыханье стало тяжело?
Что тебе печальное присниться,
Страшное привидеться могло?

Иль тоска рыданий безутешных,
Грудь теснящих в этот поздний час,
С кровью перешла к тебе от грешных,
Слишком многое узнавших — нас?

1943, 20 февраля

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Итак, ты выжил. Кончились бомбежки.
Солдаты возвращаются домой.
И выполз ты, еще шальной немножко,
Как муха, уцелевшая зимой.

Ты медленно проходишь пестрым лугом,
Где ветер клонит волны спелой ржи.
Уже почти распаханное плугом,
Еще кой-где чернеют блиндажи.

И ты с улыбкой вспомнил, как, бывало,
Осколки тут жужжали, как шмели.
Теперь здесь тишь. И на дрова завалы
Колхозницы по щепке разнесли.

В кустах ты видишь танков лом железный,
На их броне растет зеленый мох...
Как после долгой тягостной болезни
Ты делаешь счастливый полный вздох.

«Теперь, — ты думаешь, — жизнь будет
длинной!
Спокойной будет старости пора».
И вдруг у ног твоих взорвется мина,
Саперами забытая вчера.

1943, 21 февраля

* * *

Вот и вечер жизни. Поздний вечер.
Холодно и нет огня в доме.
Лампа догорела. Больше нечем
Разогнать сгустившуюся тьму.

Луч рассвета, глянь в мое оконце!
Ангел ночи! Пощади меня:
Я хочу еще раз видеть солнце —
Солнце первой половины Дня!

1943, 30 апреля

КУКУШКА

Утомленные пушки
В это утро молчали.
Лился голос кукушки,
Полный горькой печали.
Но ее кукованье
Не считал, как бывало,
Тот, кому этой ранью
Встарь она куковала:
Взорван дот в три наката,
Сбита ели макушка...
Молодого солдата
Обманула кукушка!

1943, лето

КИЕВ

Древний город, стольный Киев,
Сердце Украины!
Наступал сапог Батыя
На твои руины,
Жадный лях рукою дерзкой
Воровато щупал
Лавры Киево-Печерской
Золоченый купол.
Но была от их набегов
Русь твоей оградой.
Ты повесил щит Олегов
На воротах Царьграда,
Ты Москве назвался братом,
Стал с ней общим станом,
И грозила супостатам
Булава Богдана...
Ты дождался жизни новой

Радостного часа:
Сбылось пламенное слово
Вещего Тараса!
Но наставил палец Вя,
Взор навел змеиный
Лютый враг на вольный Киев —
Сердце Украины.
Ой, не думал ты, что станет,
Поганя Крещатик,
Среди золота каштанов
Эшафот дощатый!
Ой, не думал ты, что глинут
На пожар средь ночи
Полонянок-киевлянок
Плачущие очи!
Издевался ненавистный
Враг, тебя бичуя,
И шепнул ты, зубы стиснув:
«Ой, народ! Ты чуешь?»
И к тебе сквозь визг картечи,
Над Днепром кочуя,
Докатилось издалече
От народа: «Чую!
Потерпи, брат! Сгинет враг!
Наши не ослабли!
Не просыпался их порох!
Не погнулись сабли!..»
Вот и встал, врага осилив,
Красный витязь зоркий
На Аскольдовой могиле,
Владимирской Горке!
И звучат слова живые
Песней соловьиной:
Стал свободным вольный Киев,
Сердце Украины!

*1943, 7 ноября
Действующая армия*

УЗЕЛ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Через лужок, наискосок
От точки огневой,
Шумит молоденький лесок,
Одевшийся листвою.

Он весь — как изумрудный дым,
И радостно белы
Весенним соком молодым
Налитые стволы.

Весь день на солнце знай лежи!..
А в роще полутьма.
Там сходят пьяные чижы
От радости с ума.

Мне жар полдневный не с руки.
Я встану и пойду
Искать вдоль рощи васильки,
Подсвистывать дрозду.

Но поднимись не то что сам —
Из ямы выставь жердь —
И сразу к птичьим голосам
Прибавит голос смерть.

Откликнется без долгих слов
Ее глухой басок
Из-за березовых стволов,
С которых каплет сок.

Мне довелось немало жить,
Чтоб у того узла
Узнать, что гибель может быть
Так празднично бела!

1943

КОТ

На тюфячке, покрытом пылью,
Он припеваючи живет,
Любимец третьей эскадрильи —
Пушистый одноухий кот.

Землянка — тесное жилище,
Зато тепла землянка та...
Комэск в селе на пепелище
Нашел бездомного кота.

Бывает — полночь фронтовая,
Темно... По крыше дождь сечет...
И вдруг, тихонько напевая,
На стул комэска вспрыгнет кот.

Снаружи ветер глухо воеет,
В окошке не видать ни зги...
А кот потрется головою
О фронтовые сапоги.

И просветлеет взгляд комэска,
Исчезнет складочка у рта.
Как полон золотого блеска
Давно забытый взгляд кота!

И кажется, не так уж сыро
И дождь в окно не так стучит.
Уютной песенкою мира
Кота мурлыканье звучит.

И словно не в консервной банке
Горит фитиль из волокна,
И мнится, что в пустой землянке
Вот-вот заговорит жена.

1943

Оказалось, я не так уж молод:
Юность отшумела. Жизнь прошла.
До костей пронизывает холод,
Сердце замирает от тепла.

В час пирушки кажется хмельною
Даже рюмка слабого вина,
И коль шутит девушка со мною,
Все мне вспоминается — жена.

1943

ЦЫГАНКА

Устав от разводов и пьянок,
Гостиных и карт по ночам,
Гусары влюблялись в цыганок,
И седецкий поп их венчал.

«Дворянки» в капотах широких
Навагу едали с ножа,
Но староста знал, что оброка
Не даст воровать госпожа.

И слушал майор в кабинете,
Пуская дымок сквозь усы,
Рассказ, как «мужицкие» дети
Барчатам разбили носы!..

Он знал, что когда он отдышит
И сляжет, и встретит свой час, —
Цыганка поднимет мальчишек
И в корпус кадетский отдаст.

И вот уходил ее сверстник,
Ее благодетель — во тьму,
И пальцы в серебряных перстнях
Глаза закрывали ему.

Под гул севастопольской пушки
Вручал старшина Пантелей
Барчонку от смуглой старушки
Иконку и триста рублей.

Старушка в наколке нелепой
По дому бродила с клюкой,
И скоро в кладбищенском склепе
Ложили ее на покой.

А сыну глядела Россия,
Ночная метель и гроза
В немного шальные, косые,
С цыганским отливом глаза...

Доныне в усадевке старой
Остались следы этих лет:
С малиновым бантом гитара
И в рамке овальный портрет.

В цыганкиных правнуках слабых
Тот пламень дотлел и погас,
Лишь кровь наших диких прабабок
Нам кинется в щеки подчас.

1944, 16 января

Какое просторное небо! Взгляни-ка:
У дальнего леса дорога пылит,
На тихом погосте растет земляника,
И козы пасутся у каменных плит.

Как сонно на этом урочище мертвых!
Кукушка гадает кому-то вдали,
Кресты покосились, и надписи стерты,
Тяжелым полетом летают шмели.

И если болят твои старые кости,
Усталое бедное сердце болит, —
Иди и усни на забытом погосте
Средь этих простых покосившихся плит.

Коль есть за тобою вина или промах
Такой, о котором до смерти грустят, —
Тебе все простят эти ветви черемух,
Все эти высокие сосны простят.

И будут другие безумцы на свете
Метаться в тенетах любви и тоски,
И станут плести загорелые дети
Над гробом твоим из ромашек венки.

Присядут у ног твоих юноша с милой,
И ты сквозь заката малиновый дым
Услышишь слова над своею могилой,
Которые сам говорил — молодым.

1944, 9 июля

ПОБЕДА

Шло донское войско на султана,
Табором в степи широкой стало,
И казаки землю собирали —
Кто мешком, кто шапкою бараньей,
В холм ее, сырую, насыпали,
Чтоб с кургана мать полуслепая
Озирала степь из-под ладони:
Не пылят ли где казачьи копи?
И людей была такая сила,
Столько шапок высыпано было,
Что земля струей бежала, ширясь,
И курган до звезд небесных вырос.
Год на то возвышенное место
Приходили жены и невесты,
Только, как ни вглядывались в дали,
Бунчуков казачьих не видали.
Через три-четыре долгих года
Воротилось войско из похода,
Из жестоких сеч с ордой поганой,
Чтобы возле прежнего кургана
Шапками курган насыпать новый —
Памятник години той суровой.
Сколько шапок рать ни насыпала,
А казаков так осталось мало,
Что второй курган не вырос выше
Самой низкой камышовой крыши.
А когда он встал со старым рядом,
То казалось, если смерить взглядом, —
Что поднялся внук в ногах у деда...
Но с него была видна победа.

1944, 14 ноября

* * *

Был слеп Гомер и глух Бетховен,
И Демосфен косноязык.
Но кто поднялся с ними вровень,
Кто к музам, как они, привык?
Так что ж педант, насупясь, пишет,
Что творчество лишь тем дано,
Кто остро видит, тонко слышит,
Умеет говорить красно?
Иль им, не озаренным духом,
Один закон всего знаком —
Творить со слишком тонким слухом
И слишком длинным языком?..

.

1944

* * *

Ты говоришь, что наш огонь погас,
Твердишь, что мы состарились с тобою,
Взгляни ж, как блещет небо голубое!
А ведь оно куда старше нас...

1944

ЗОЛОТО

Мужик в землянке прорубал оконце:
Невесело сидеть в крошечной мгле!
Под заступом, как маленькие солнца,
Блестят крупинки золота в земле.

Мужик, сопя, презрительно наступит
На золото тяжелою пятой.

На что оно? Ужо он в лавке купит
На пяточок сусали золотой.

Ведь мужику-то лень и поклониться,
А тут копай его да спину гни...
Настанет праздник — вся его божица
Сусалью заблестает без возни!

1944

* * *

Такой ты мне привиделась когда-то:
Молочный снег, яичная заря.
Косые ребра будки полосатой,
Чиновничья припрыжка снегиря.

Я помню чай в кустодиевском блюде,
И санный путь, чуть выюга улеглась,
И капли слез, которые не льются
Из светло-серых с поволокой глаз...

Что ж! Прав и я: бродяга — дым становий,
А полководец — жертвенную кровь
Любил в тебе... Но множество любовей
Слились в одну великую любовь!

1944

* * *

Кайсыну Кулиеву

Ночь поземкою частой
Заметает поля.
Я пишу тебе: «Здравствуй,
Офицер Шамиля!»

Вьюга зимнюю сказку
Напевает в трубу.
Я прижал по-кавказски
Руку к сердцу и лбу.

Искры святочной ваты
Блещут в тьме голубой...
Верно, в дни Газавата
Мы встречались с тобой.

Тлела ярость былая,
Нас враждой разделя:
Я — солдат Николая,
Ты — мюрид Шамиля.

Но над нами есть выше,
Есть нетленнее свет:
Я не знаю, как пишут
По-балкарски «поэт».

Но не в песне ли сила,
Что открыла для нас:
Кабардинцу — Россию,
Славянину — Кавказ?

Эта сила — не знак ли,
Чтоб, скитаньем ведом,
Заходил ты, как в саклю,
В крепкий северный дом.

И, как Байрон, хромая,
Проходил к очагу...
Пусть дорога прямая
Тонет в рыхлом снегу, —

В очаге, не померкнув,
Пламя льнет к уголькам,

И, как колокол в церкви,
Звонок тонкий бокал.

К утру иней налипнет
На сосновых стенах...
Мы за лирику выпьем
И за дружбу, кунак!

1945, 10 февраля

ЗАДАЧА

Мальчик жаловался, горько плача:
«В пять вопросов трудная задача!
Мама, я решить ее не в силах,
У меня и пальцы все в чернилах,
И в тетради места больше нету,
И число не сходится с ответом!»
«Не печалься! — мама отвечала. —
Отдохни и все начни сначала!»
Жизнь поступит с мальчиком иначе:
В тысячу вопросов даст задачу.
Пусть хоть кровью сердце обольется —
Все равно решать ее придется.
Если скажет он, что силы нету, —
То ведь жизнь потребует ответа!
Времени она оставит мало,
Чтоб решать задачу ту сначала.
И покуда мальчик в гроб не ляжет,
«Отдохни!» — никто ему не скажет.

1945, 1 марта

КАК МУЖИК ОБИДЕЛСЯ

Никанор первопутком ходил в извоз,
А к траве ворочался до дому.
Почитай, и немного ночей пришлось
Миловаться с женой за год ему!

Ну, да он был старательный мужичок:
Сходит в баньку, поест, побреется,
Заберется к хозяйшке под бочок —
И, глядишь, человек согрется.

А Матрена рожать здорова была!
То есть экая баба клятая:
Муж на пасху воротится — тяжела.
На крещенье придет — брюхатая!

Никанор, огорченья не утая,
Разговор с ней повел по-строному:
«Ты, Матрена, крольчиха аль попадьа?
Снова носишь?» Побойся бога, мол!

Тут уперла она кулаки в бока:
«Спрячь глаза, — говорит, — бесстыжие!
Аль в моих куличах не твоя мука?
Все ребята в тебя. Все — рыжие!»

Начала она зыбку качать ногой,
А мужик лишь глазами хлопает:
На коленях — малец, у груди — другой,
Да еще трое лазят по полу!

Он, конечно, кормил их своим трудом,
Но, однако же, не без жалобы:
«Положительно, граждане, детский дом:
На пять баб за глаза достало бы!»

Постарел Никанор. Раз — глаза протер,
Глядь-поглядь, а ребята взрослые.
Стал Никита шахтер, а Федот — монтер,
Все — большие, ширококостые!

Вот по горницам ходит старик, ворча:
«Без ребят обернулся где бы я?
Захвораю — так кличу сынка-врача,
Лук сажу — агронома требую!

Про сынов моих слава идет окрест,
Что ни дочка — голубка сизая!
А как сядут за стол на двенадцать мест,
Так куда тебе полк — дивизия!..»

Поседела Матренина голова:
Уходилась с такою оравою.
За труды порешила ее Москва
Наградить «Материнской славую».

Муж прослышал и с поля домой попер,
В тот же вечер с хозяйкой свиделся.
«Нынче я, — заявляет ей Никанор, —
На Верховный Совет обиделся.

Нету слов, — говорит, — хоть куда декрет:
Наградить тебя — дело нужное,
Да в декрете пустячной статейки нет:
Про мои про заслуги мужние!

Наше дело, конечно, оно пустяк,
Но меня забирают, вижу я:
Тут, вертись не вертись, а ведь
как-никак —
Все ребята в меня. Все — рыжие!

Девять парней — что соколы, и опять —
Трое девок, и все красавицы!

Ты Калинычу, мать, не забудь сказать:
Без опары пирог не ставится.

Уж коли ему орден навесить жаль,
Все ж пускай обратит внимание
И велит мужикам нацеплять медаль —
Не за доблесть, так за старание.

Коль поправку мою он внесет в декрет —
Мы с тобой, моя лебедь белая,
Поживем-поживем да под старость лет
Октябренка, глядишь, и сделаем!»

1945, 4 мая

* * *

Все мне мерещится поле с гречихою,
В маленьком доме сирень на окне,
Ясное-ясное, тихое-тихое
Летнее утро мерещится мне.

Мне вспоминается кляча чубарая,
Аист на крыше, скирды на гумне,
Темная-темная, старая-старая
Церковка наша мерещится мне.

Чудится мне, будто песню печальную
Мать надо мною поет в полусне,
Узкая-узкая, дальняя-дальняя
В поле дорога мерещится мне.

Где ж этот дом с оторвавшейся ставнею,
Комната с пестрым ковром на стене...
Милое-милое, давнее-давнее
Детство мое вспоминается мне.

1945, 13 мая

МЫШОНОК

Что ты приходишь, горбатый мышонок,
В комнату нашу в полуночный час?
Сахарных крошек и фруктов сушеных
Нет и в помине в буфете у нас.

Бедный мышонок! Из кухонь соседних,
Верно, тебя выгоняют коты.
Знаешь ли? Мне, мой ночной собеседник,
Кажешься слишком доверчивым ты!

Нрав домработницы нашей — не кроткий:
Что, коль незваных гостей не любя,
Вдруг над тобой занесет она щетку
Иль в мышеловку изловит тебя?..

Ты поглядел, словно вымолвить хочешь:
«Жаль расставаться с обжитым углом!»
Словно согреться от холода ночи
Хочешь моим человеческим теплом.

Чудится мне — одиночеством горьким
Блещут чуть видные бусинки глаз.
Не потому ли из маленькой норки
Ты и выходишь в полуночный час?..

Что ж! Пока дремлет кошкам и людям
И мышеловок не видно вокруг, —
Мы с тобой все наши беды обсудим,
Мой молчаливый, мой маленький друг!

Я — не гляди, что большой и чубатый, —
А у соседей, как ты, не в чести.
Так приходи ж, мой мышонок горбатый,
В комнату к нам — и подольше гости!

1945, 16 мая

Месяц однорогий
Выплыл, затуманясь.
По степной дороге
Проходил германец.

С древнего кургана
В полусвете слабом
Скалилась нагая
Каменная баба.

Скиф ладонью грубой
В синем Заднепровье
Бабе мазал губы
Вражескою кровью.

Из куска гранита
Высечены грубо,
Дрогнули несыто
Идоловы губы.

Словно карауля
Жертву среди ночи,
На врага взглянули
Каменные очи.

Побежал германец
По степной дороге,
А за ним хромали
Каменные ноги.

Крикнул он, шатаясь,
В ужасе и в муке,
А его хватали
Каменные руки...

Зорька на востоке
Стала заниматься.
Волк нашел в осоке
Мертвого германца.

1945, 3 июня

Я

Много видевший, много знавший,
Знавший ненависть и любовь,
Все имевший, все потерявший
И опять все нашедший вновь.

Вкус узнавший всего земного
И до жизни жадный опять,
Обладающий всем и снова
Все стремящийся потерять.

1945, июнь

* * *

Л. К.

Нам, по правде сказать, в этот вечер
И развлечься-то словно бы нечем:
Ведь пасьянс — это скучное дело,
Книги нет, а лото надоело...
Вьюга, зная, разгуляется к ночи:
За окошком ненастье бормочет,
Ветер что-то невнятное шепчет...
Завари-ка ты чаю покрепче,
Натурального чаю, с малиной:
С ним и ночь не покажется длинной!

Да зажги в этом сумраке хмуром
Лампу ту, что с большим абажуром.
У огня на скамеечке низкой
Мы усядемся тесно и близко
И, чаек попивая из чашек,
Дай-ка вспомним всю молодость нашу,
Всю, от ветки персидской сирени
(Положи-ка мне ложку варенья).
Вспомню я — мы теперь уже седы, —
Как ты раз улыбнулась соседу,
Вспомнишь ты — что уж нынче за счеты, —
Как пришел под хмельком я с работы,
Вспомним ласково, по-стариковски,
Нашей дочери русые коски,
Вспомним глазки сынка голубые
И решим, что мы счастливы были,
Но и глупыми все же бывали...
Постели-ка ты мне на диване:
Может, мне в эту ночь и приснится,
Что ты стала опять озорницей!

1945, 5 июля

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ДАЧУ

...Итак, приезжайте к нам завтра, не позже!
У нас васильки собирай хоть охапкой.
Сегодня прошел замечательный дождик —
Серебряный гвоздик с алмазною шляпкой.

Он брызнул из маленькой-маленькой тучки
И шел специально для дачного леса,
Раскатистый гром — его верный попутчик —
Над ним хохотал, как подпивший повеса.

На Пушкино в девять идет электричка.
Послушайте, вы отказаться не вправе:
Кукушка снесла в нашей роще яичко,
Чтоб вас с наступающим счастьем
поздравить!

Не будьте ленивы, не будьте упрямы.
Пораньше проснитесь, не мешкая встаньте.
В кокетливых шляпах, как модные дамы,
В лесу мухоморы стоят на пуанте.

Вам будет на сцене лесного театра
Вся наша программа показана разом:
Чудесный денек приготовлен на завтра,
И гром обеспечен, и дождик заказан!

1945, 6 июля

Б. Л.
: 1

* * *

Бывало, в детстве я в чулан залезу,
Где сладко пахнет редькою в меду,
И в сундучке, окованном железом,
Рабочий ящик бабушки найду.

В нем был тяжелый запах нафталина
И множество диковинных вещиц:
Старинный веер из хвоста павлина,
Две сотни пуговиц и связка спиц.

Я там нашел пластинку граммофона,
Что, видно, модной некогда была,
И крестик кипарисовый с Афона,
Что, верно, приживалка привезла.

Я там нашел кавказский пояс узкий,
Кольцо, бумаги пожелтевшей десь,

Письмо, написанное по-французски,
Которое я не сумел прочесть.

И в уголку нашел за ними следом
Колоду бархатных венгерских карт,
Наверное, отобранных у деда:
Его губили щедрость и азарт.

Я там нашел мундштук, зашитый в замшу,
На нем искусно вырезан медведь.
Судьба превратна: дед скончался раньше,
Чем тот мундштук успел порозоветь.

Кольцо с дешевым камушком — для няни,
Таблетки для приема перед сном,
Искусственные зубы, что в стакане
Покоились на столике ночном.

Два вышитые бисером кисета,
Гравюр старинных желтые листы,
Китовый ус из старого корсета, —
Покойница стыдилась полноты.

Тетрадка поварских рецептов старых,
Как печь фриштык, как сдобрить калачи,
И лентой перевязанный огарок
Ее венчальной свадебной свечи.

Да в уголку за этою тетрадкой
Нечаянно наткнуться мне пришлось
На бережно завернутую прядку
Кудрявых детских золотых волос.

Что говорить, — неважное наследство,
Кому он нужен, этот вздор смешной?
Но чья-то жизнь — от дней золотого детства

До старости прошла передо мной.

И в сердце нету места укоризне,
И замирает на губах укор:
Пройдет полвека — и от нашей жизни
Останется такой же пестрый сор!

1945

ПОЭМЫ

ЗОДЧИЕ

Как побил государь
Золотую Орду под Казанью,
Указал на подворье свое
Приходить мастерам.
И велел благодетель, —
Гласит летописца сказанье, —
В память оной победы
Да выстроят каменный храм!

И к нему привели
Флорентийцев,
И немцев,
И прочих
Иноземных мужей,
Пивших чару вина в один дых.
И пришли к нему двое
Безвестных владимирских зодчих,
Двое русских строителей,
Статных,
Босых,
Молодых.

Лился свет в слюдяное оконце.
Был дух вельми спертый.
Изразцовая печка.
Божница.
Угар и жара.

И в посконных рубахах
Перед Иоанном Четвертым,
Крепко за руки взявшись,
Стояли сии мастера.

— Смерды!
Можете ль церкву сложить
Иноземных пригожей,
Чтоб была благолепней
Заморских церквей, говорю? —
И, тряхнув волосами,
Ответили зодчие:
— Можем!
Прикажи, государь! —
И ударились в ноги царю.

Государь приказал.
И в субботу на вербной неделе,
Покрестясь на восход,
Ремешками схватив волоса,
Государевы зодчие
Фартуки наспех надели,
На широких плечах
Кирпичи понесли на леса.

Мастера выплетали
Узоры из каменных кружев.
Выводили столбы
И, работой своею горды, —
Купол золотом жгли,
Кровли крыли лазурью снаружи
И в свинцовые рамы
Вставляли чешуйки слюды.

И уже потянулись
Стрельчатые башенки кверху,
Переходы,

Балкончики,
Луковки да купола.
И дивились ученые люди, —
Занé эта церковъ
Краше вилл италийских
И пагод индийских была!

Был диковинный храм
Богомазами весь размалеван.
В алтаре и при входах,
И в царском притворе самом
Живописной артелью
Монаха Андрея Рублева
Изукрашен зело
Византийским суровым письмом...

А в ногах у постройки
Торговая площадь жужжала,
Торовато кричала купцам:
— Покажи, чем живешь! —
Ночью подлый народ
До креста пропивался в кружалах,
А утрами истошно вопил,
Становясь на правеж.

Тать, засеченный плетью,
У плахи лежал бездыханно,
Прямо в небо уставя
Очесок седой бороды.
И в московской неволе
Томились татарские ханы,
Посланцы Золотой,
Переметчики Черной Орды.

А над всем этим срамом
Та церковъ была —
Как невеста!

И с рогожкой своей,
С бирюзовым колечком во рту, —
Непотребная девка
Стояла у Лобного места
И, дивясь,
Как на сказку,
Глядела на ту красоту...

А как храм освятили,
То с посохом,
В шапке монашьей,
Обошел его царь —
От подвалов и служб
До креста.
И, окинувши взором
Его узорчатые башни,
— Лепота! — молвил царь.
И ответили все: — Лепота!

И спросил благодетель:
— А можете ль сделать пригожей,
Благотепнее этого храма
Другой, говорю? —
И, потрянув волосами,
Ответили зодчие:
— Можем!
Прикажи, государь! —
И ударились в ноги царю.

И тогда государь
Повелел ослепить этих зодчих,
Чтоб в земле его
Церковь
Стояла одна такова,
Чтобы в Суздальских землях,
И в землях Рязанских
И прочих

Не поставили лучшего храма,
Чем храм Покрова!

Соколиные очи
Кололи им шилом железным,
Дабы белого света
Увидеть они не могли.
Их клеймили клеймом,
Их секли батогами, болезных,
И кидали их,
Темных,
На стылое лоно земли.

И в Обжорном ряду,
Там, где заваль кабацкая пела,
Где сивухой разило,
Где было от пару темно,
Где кричали дьяки:
«Государево слово и дело!»
Мастера христа-ради
Просили на хлеб и вино.

И стояла их церковь
Такая,
Что словно приснилась.
И звонила она,
Будто их отпевала навзрыд.
И запретную песню
Про страшную царскую милость
Пели в тайных местах
По широкой Руси
Гуслияры.

1938

ПЕСНЯ ПРО АЛЕНУ-СТАРИЦУ

Что не пройдет —
Останется,
А что пройдет —
Забудется...
Сидит Алена-Старица
В Москве, на Вшивой улице.
Зипун, простоволосая,
На голову набросила,
А ноги в кровь изрезаны
Тяжелыми железами.

Бегут ребята — дразнятся,
Кипит в застенке варево...
Покажут ноне разинцам
Острастку судьи царицы!

Расспросят, в землю метлами
Брады уставя долгие,
Как соколы залетные
Гуляли Доном-Волгою,
Как под Азовом ладили
Челны с высоким застругом,
Как шарили да грабили
Торговый город Астрахань...

Палач-собака скалится,
Лиса-приказный хмурится.
Сидит Алена-Старица
В Москве, на Вшивой улице.
Судья в кафтане до полу
В лицо ей светит свечечкой:
«Немало, ведьма, попила
Ты крови человеческой,
Покуда плахе-матушке
Челом ты не ударила!»

Пытают в раз остаточный
Бояре государевы:
«Обедню черту правила ль,
Сквозь сито землю сеяла ль
В погибель роду цареву,
Здоровью Алексееву?»

«Смолой приправлен жидкою,
Мне солон царский хлебушек!
А ты, боярин, пыткую
Стращал бы красных девушек!
Хотите — жгите заживо,
А я царя не сглазила:
Мне жребий выпал — важивать
Полки Степана Разина.
В моих ушах без умолку
Поет стрела татарская.
Те два полка,
Что два волка,
Дружину грызли царскую!
Нам, смердам, двери заперты
Повсюду, кроме паперти.
На паперти слепцы поют,
Попросишь — грош купцы дают.

Судьба меня возвысила!
Я бар, что семя, шелкала,
Ходила в кике бисерной,
В зеленой кофте шелковой.

На Волге — что оконницы —
Пруды с зеленой ряскою,
В них раки пынче кормятся
Свежинкою дворянскою.
Боярский суд не жаловал
Ни старого, ни малого,

Так вас любить,
Так вас жалеть —
Себя губить,
Душе болеть!..

Горят огни-пожарища,
Дымы кругом постелены.
Мои друзья-товарищи
Порубаны, постреляны,
Им глазыньки до донышка
Ночной стервятник выклевал,
Их греет волчье солнышко,
Они к нему привыкнули.
И мне топор, знать, выточен
У ката в башне пыточной,
Да помни, дьяк,
Не ровен час:
Сегодня — нас,
А завтра — вас!
Мне б после смерти галкой стать,
Летать под низкой тучею,
Ночей не спать, —
Царя пугать
Бедою неминучею!..»

Смола в застенке варится,
Опарой всходит сдобною,
Ведут Алену-Старицу
Стрельцы на место Лобное.
В Зарядье над осокою
Блестит зарница дальняя.
Горит звезда высокая...
Терпи, многострадальная!

А тучи, словно лошади,
Бегут над Красной площадью.

Все звери спят.
Все птицы спят,
Одни дьяки
Людей казнят.

1939

ПРИДАНОЕ

В тростниках просохли кочки,
Зацвели каштаны в Тусе.
Плачет розовая дочка
Благородного Фердуси:
— Больше куклы мне не снятся,
Женихи густой толпою
У дверей моих теснятся,
Как бараны к водопою.
Вы, надеюсь, мне дадите
Одного назвать желанным.
Уважаемый родитель!
Как дела с моим приданым?

Отвечает пылкой дочке
Добродетельный Фердуси:
— На деревьях взбухли почки.
В облаках курлычат гуси.
В вашем сердце полной чашей
Ходит паводок весенний,
Но увы: к несчастью, ваши
Справедливы опасенья.
В нашей бочке — мерка риса,
Да и то еще едва ли.
Мы куда бедней, чем крыса,
Что живет у нас в подвале.
Но уймите, дочь, досаду,
Не горюйте слишком рано:

Завтра утром я засяду
За сказания Ирана,
За богов и за героев,
За сраженья и победы
И, старания утроив,
Их окончу до обеда,
Чтобы вился стих чудесный
Легким золотом по черни,
Чтобы шах прекрасной песней
Наслаждался в час вечерний.
Шах прочтет и с караваном
Круглых войлочных верблюдов
Нам пришлет цветные ткани
И серебряные блюда,
Шелк и бисерные нити,
И мускат с имбирем пряным,
И тогда, кого хотите,
Назовите вы желанным!

В тростниках размокли кочки,
Отцвели каштаны в Тусе,
И опять стучится дочка
К благодушному Фердуси:
— Третий месяц вы не спите
За своим занятием странным,
Уважаемый родитель!
Как дела с моим приданым?
Поглядевши, как пылает
Огонек у вас ночами,
Все соседи пожимают
Угловатыми плечами.

Отвечает пылкой дочке
Рассудительный Фердуси:
— На деревьях мерзнут почки,
В облаках умолкли гуси,
Труд — глубокая криница.

Зачерпнул я влаги мало,
И алмазов на страницах
Лишь немного заблестало.
Не волнуйтесь, подождите,
Год я буду неустанным,
И тогда, кого хотите,
Назовите вы желанным.

Через год просохли кочки,
Зацвели каштаны в Тусе,
И опять стучится дочка
К терпеливому Фердуси:
— Где же бисерные нити
И мускат с имбирем пряным?
Уважаемый родитель!
Как дела с моим приданным?
Женихов толпа устала
Ожиданием томиться.
Иль опять алмазов мало
Заблестало на страницах?

Отвечает гневной дочке
Опечаленный Фердуси:
— Поглядите в эти строчки,
Я за труд взялся, не труся,
Но должны еще чудесней
Быть завязки приключений,
Чтобы шах прекрасной песней
Насладился в час вечерний.
Не волнуйтесь, подождите,
Разве каплет над Ираном?
Будет день, кого хотите,
Назовете вы желанным.

Баня старая закрылась,
И открылся новый рынок.
На макушке засветилась

Тюбетейка из сединок.
Чуть ползет перо поэта
И поскрипывает тише.
Чередой проходят лета,
Дочка ждет, Фердуси пишет.

В тростниках размокли кочки,
Отцвели каштаны в Тусе.
Вновь стучится злая дочка
К одряхлелому Фердуси:
— Жизнь прошла, а вы сидите
Над писаньем окаянным.
Уважаемый родитель!
Как дела с моим приданым?
Вы, как заяц, поседели,
Стали злым и желтоносым,
Вы над песней просидели
Двадцать зим и двадцать весен.
Двадцать раз любили гуси,
Двадцать раз взбухали почки,
Вы оставили, Фердуси,
В старых девах вашу дочку.
— Будут груши, будут фиги,
И халаты, и рубахи,
Я вчера окончил книгу
И с купцом отправил к шаху.
Холм песчаный не остынет
За дорожным поворотом, —
Тридцать странников пустыни
Подойдут к моим воротам.

Посреди придворных близких
Шах сидел в своем серале.
С ним лежали одалиски,
И скопцы ему играли.
Шах глядел, как пляшут триста
Юных дев, и бровью двигал.

Переписанную чисто
Звездочет приносит книгу:
— Шаху прислан дар поэтом,
Стихотворцем поседелым... —
Шах сказал: — Но разве это —
Государственное дело?
Я пришел к моим невестам,
Я сижу в моем гареме,
Тут читать совсем не место
И писать совсем не время.
Я потом прочту записки,
Небольшая в том утрата.
Улыбнулись одалиски,
Захихикали кастраты.

В тростниках просохли кочки,
Зацвели каштаны в Тусе.
Кличет сгорбленную дочку
Добродетельный Фердуси:
— Сослужите службу ныне
Старику, что видит худо:
Не идут ли по долине
Тридцать войлочных верблюдов?
— Не бегут к дороге дети,
Колокольцы не бренчали,
В поле только легкий ветер
Разметает прах песчаный. —
На деревьях мерзнут почки,
В облаках умолкли гуси,
И опять взывает к дочке
Опечаленный Фердуси:
— Я сквозь бельма, старец древний,
Вижу мир, как рыба в тине.
Не стоит ли у деревни
Тридцать странников пустыни?

— Не бегут к дороге дети,
Колокольцы не бренчали.
В поле только легкий ветер
Разметает прах песчаный.

Вот посол, пестро одетый,
Все дворы обходит в Тусе:
— Где живет звезда поэтов —
Ослепительный Фердуси?
Вьется стих его чудесный
Легким золотом по черни,
Падишах прекрасной песней
Насладился в час вечерний.
Шах в дворце своем — и ныне
Он прислал певцу оттуда
Тридцать странников пустыни,
Тридцать войлочных верблюдов,
Ткани солнечного цвета,
Полосатые бурнусы...
Где живет звезда поэтов —
Ослепительный Фердуси?

Стон верблюдов горбоносых
У ворот восточных где-то,
А из западных выносят
Тело старого поэта.
Бормоча и приседая,
Как разошедшаяся бочка,
Караван встречать — седая —
На крыльцо выходит дочка:
— Ах, медлительные люди!
Вы немножко опоздали.
Мой отец носить не будет
Ни халатов, ни сандалий.
Если шитые иголкой
Платья нашивал он прежде,
То теперь он носит только

Деревянные одежды.
Если раньше в жажде горькой
Из ручья черпал рукою,
То теперь он любит только
Воду вечного покоя.
Мой жених крылами чертит
Страшный след на поле бранном.
Джинна близкой-близкой смерти
Я зову своим желанным.
Он просить за мной не будет
Ни халатов, ни сандалий...
Ах, медлительные люди,
Вы немножко опоздали!

Встал над Тусом вечер синий,
И гуськом идут оттуда
Тридцать странников пустыни,
Тридцать войлочных верблюдов.
1935

СВОДНЯ

Подобно старой развратнице,
вы сторожили жену мою во
всех углах, чтобы говорить ей
о любви вашего незаконнорож-
денного, или так называемого
сына, и, когда, больной вене-
рической болезнью, он оставал-
ся дома, вы говорили, что он
умирал от любви к ней, вы ей
бормотали: «Возвратите мне
сына».

Из письма Пушкина
к Геккерену

«Не правда ли, мадам, как весел Летний сад,
Как прихотлив узор сих кованых оград,
Опертых на лошенные граниты?
Феб, обойдя Петрополь знаменитый,

Последние лучи дарит его садам
И золотит Неву... Но вы грустны, мадам?»

К жемчужному ушку под шалью лебединой
Склоняются душистые седины.
Красавица, косящая слегка,
Плывет, облокотясь на руку старика,
И держит веер страусовых перьев.

«Мадам, я вас молю иметь ко мне доверье!
Я говорю не как придворный льстец, —
Как нежный брат, как любящий отец.
Поверьте мне причину тайной грусти:
Вас нынче в Петергоф на праздник муж
не пустит?»

А в Петергофе двор, фонтаны, маскарад!
Клянусь, мне жалко вас. Клянусь, что Жорж
бы рад

Вас на руках носить, Сикстинская мадонна!
Сие — не комплимент пустого селадона,
Но истина, прелестное дитя.
Жорж хочет видеть вас. Жорж любит

не шутя.
Ваш муж не стоит вас ни видом, ни манерой,
Позвольте вас сравнить с Волканом и
Венерой.

Он желчен и ревнив. Простите мой пример,
Но мужу вашему в плену его химер
Не все ль одно, что царский двор, что выгон?
Он может в некий день зарезать вас, как
цыган,

В салонах говорят, что он уж обнажал
Однажды свой кощунственный кинжал
На вас, дитя! Мой бог, какая низость!..
А как бы оценил святую вашу близость
Мой сын, мой бедный Жорж! Он болен от
любви!

Мадам, я трепещу. Я с холодом в крови,
Сударыня, гляжу на будущее ваше.
Зачем вам бог судил столь горестную чашу?
Вы рано замуж шли. Любовь в шестнадцать
лет

Еще молчит. Не говорите «нет»!
Вам роскошь надобна, как паруса фрегату,
Вам надобно блистать. А вы... вы небогаты...
И мужа странный труд, вам скушный и
печальный,

И ваши слезы в одинокой спальней,
И хладное молчание его.
Сознайтесь: что еще меж вами? Ничего!
К тому ж известно мне, меж нами говоря,
Недоброе внимание царя
К супругу вашему. Ему ль ходить по струнке?
Фрондер и атеист, — какой он камер-юнкер?
Он зрелый муж. Он скоро будет сед,
А камер-юнкерство дают в осьмнадцать лет,
Когда его дают всерьез, а не в насмешку.
Царь памятлив, мадам. Царь не забыл
орешка,

Раскушенного им в восстанье декабря.
Смиреньем показным не провести царя!
Он помнит, чьи стихи в бумагах декабристов
Фатально находил почти что каждый пристав.
Грядущее неясно нам. Как знать:
Тот пагубный нарыв не зреет ли опять?
Ваш муж умен, и злоба в нем клубится,
Не вдохновит ли он цареубийцу,
Не спрячет ли он сам кинжала под полу?
В тот день, мадам, на Кронверкском валу
Он может быть шестым иль в рудники
Сибири

Пойдет греметь к ноге прикованною гирей.
Не тронется семьей ваш пасмурный чудак!
А вас тогда что ждет? Чердак, мадам,
чердак!

А между тем... когда б вы пожелали, —
Вы были б счастливы! Вы б лавры пожинали!
Мой сын богат. В конце концов, мадам,
Мой бедный Жорж не неприятен вам.
Когда б склонились вы его любить нежнее —
Вы разорвали б цепи Гименея,
Соединившись с ним для страстных нег.
Мне было бы легко устроить ваш побег.
Вы б вырвались из мрачного капкана
В край фресок Тьеполо, в край лоджий

Ватикана,

К утесам меловым, где важный Альбион
Жемчужным облаком тумана окружен.
Вы б мимолетный взор рассеянно бросали
Кладбищам Генуи и цветникам Версаля,
Блаженствуя в полуденной стране...
Мадам, мадам, верните сына мне!
Вы думаете — муж. Сударыня, поэты —
Лишь дайте им перо да свежий лист газеты —
В тот самый миг забудут о родне.
Искусство их дарит забвением вполне.
А будет он страдать — обогатится лира:
Она ржавеет в душном счастье мира,
Ей нужны бури — и на лире той
Звук самый горестный есть самый золотой!
Но вот идет ваш муж. В лице его — досада...»

«Мой друг, я битый час ищу тебя по саду.
Барон, вы в грот ее напрасно завели.
Домой пора. — Поедем, Натали!»

Красавица ушла, покинув дипломата.
Он вынул кружевной платочек аккуратный,
Поставил трость меж подагричных ног,
В ладошку табаку насыпал сколько мог,
Раскрыв табачницу с эмалькой Ганимеда,
И сладко чхнул... «Ну, кажется, победа!»

1937

СОЛДАТКА

Ты все спала. Все кислого хотела.
Все плакала. И скоро поняла,
Что и медлительна и полнотела
Вдруг стала оттого, что — тяжела.

Была война. Ты, трудно подбоченясь,
Несла ведро. Шла огород копать.
Твой бородатый ратник-ополченец
Шагал по взгорьям ледяных Карпат.

Как было тяжело и как несладко!
Все на тебя легло: топор, игла,
Корыто, печь... Но ты была солдаткой,
Великорусской женщиной была.

Могучей, умной, терпеливой бабой
С нечастыми сединками в косе...
Родился мальчик. Он был теплый, слабый,
Пискливый, красный, маленький, как все.

Как было хорошо меж сонных губок
Вложить ему коричневый сосок
Набухшей груди, полной, словно кубок,
На темени пригладить волосок.

Прислушаться, как он сосет, перхая,
Уставившись неведомо куда,
И нянчиться с мальчишкой, отдыхая
От женского нелегкого труда...

А жизнь тебе готовила отместку:
Из волостной управы понятой
В осенний день принес в избу повестку.
Дурная весть была в повестке той!

В ней говорилось, что в снегах горбатых,
Зарыт в могилу братскую, лежит,

Германцами убитый на Карпатах,
Твой работающий пожилой мужик.

Как убивалась ты! Как голосила!..
И все-таки, хоть было тяжело,
Мальчишка рос. Он наливался силой,
Тянулся вверх, всем горестям назло.

А время было трудное!.. Бывало,
Стирала ты при свете ночника
И что могла для сына отрывала
От своего убогого пайка.

Всем волновалась: ртом полуоткрытым,
Горячим лбом, испариной во сне.
А он хворал. Краснухой. Дифтеритом.
С другими малышами наравне.

Порою из рогатки бил окошки,
И люди говорили: «Ох, бедов!»
Порою с ходу прыгал на подножки
Мимо идущих скорых поездов...

Мальчишка вырос шустрый, словно чижик,
Он в школу не ходил, а несся вскачь.
Ах, эта радость первых детских книжек
И горечь первых школьных неудач!

А жизнь вперед катилась час за часом.
И вот однажды, раннею весной,
Ломающимся юношеским басом
Заговорил парнишка озорной.

И все былое горе малой тучкой
Представилось тебе, когда сынок
Принес, богатый первую получкой,
Тебе в подарок кубовый платок.

Ты стала дряхлая, совсем седая...
Тогда ухватами в твоей избе
Загрохала невестка молодая.
Вот и нашлась помощница тебе!

А в уши все нашептывает кто-то,
Что краток день счастливой тишины:
Есть материнства женская работа
И есть мужской тяжелый труд войны.

Недаром сердце ныло, беспокоясь:
Она пришла, военная страда.
Сынка призвали. Дымный красный поезд
Увез его неведомо куда.

В тот день в прощальной суете вокзала,
Простоволоса и как мел бела,
Твоя сноха заплакала, сказала,
Что от него под сердцем понесла.

А ты, очки связав суровой ниткой,
Гадала: мертвый он или живой?
И по́долгу сидела над открыткой
С неясным штампом почты полевой.

Но сын умолк. Он в воду канул будто!
Что говорить? Беда приходит вдруг!
Какой фашист перечеркнул в минуту
Все двадцать лет твоих надежд и мук?

Твой мертвый сын лежит в могиле братской,
Весной ковыль начнет над ним расти.
И внятный голос с хрипотцой солдатской
Меня ночами просит: «Отомсти!»

За то, что в землю ржавую лопатой
Зарыта юность светлая моя,

За старика, что умер на Карпатах
От той же самой пули, что и я.

За мать, что двадцать лет, себе на горе,
Промаялась бесплодной маемой,
За будущего мальчика, что вскоре
На белый свет родится сиротой!

Ей будет нелегко его баюкать:
Она одна. Нет мужа. Сына нет...
Разбойники! Они убьют и внука —
Не через год, так через двадцать лет!..

И все орудья фронта, каждый воин,
Все бессемеры тыла, как один,
Солдату отвечают: «Будь спокоен!
Мы отомстим! Он будет жить, твой сын!

Он будет жить! В его могучем теле
Безоблачно продлится жизнь твоя.
Ты пал, чтоб матери не сиротели
И в землю не ложились сыновья!»

1944, 16—19 февраля

П Р И М Е Ч А Н И Я

В предлагаемое издание включены лучшие стихи Дмитрия Кедрина, большинство из которых увидело свет лишь после смерти поэта.

«И минуло время» — строка из ныне известного стихотворения Кедрина «Кофейня». «Любопытство» и «Зрелость» — названия, которые поэт собирался дать своим будущим сборникам.

Первая и единственная прижизненная книга стихов «Свидетели» выходила девять лет и появилась в таком виде, что Дмитрий Кедрин писал своему другу, поэту Кайсыну Кулиеву: «Эту злосчастную книжку постигла судьба еще более печальная, чем твою. Ее не зарезали — ее обрезали, недорезали, выбросили из нее много хороших стихотворений и вставили много плохих, старых, детских. Она вышла в таком виде, что ее нельзя считать не чем иным, как убудком. В ней сохранилось не больше 5—6 стихотворений, которые стоят этого высокого имени».

А ведь в 1940 году, когда вышла эта «злосчастная» книжка, Дмитрием Кедриним уже были написаны такие стихотворения, как «Алена-Старица», «Сердце», «Песня про пана», поэма «Конь», драма «Рембрандт».

В данное издание входят также ранние стихи поэта, написанные им в 1927—1928 годах и до недавнего времени хранившиеся в Пушкинском доме в Ленинграде, в архиве М. А. Волошина. Там были обнаружены не только стихи юного поэта, но и его письма М. Волошину, по которым видно, насколько серьезно и критично Кедрин относился к своей работе и какими твердыми убеждениями обладал.

В первом письме от 12 августа 1928 года, которое он пишет от своего имени и имени друга, поэта Ф. Сорокина, он так объясняет

необходимость этой переписки: «Без строгой и обоснованной критики трудно работать. Не веришь ни себе, ни другим, а Ваша оценка указала бы нам слабые стороны наших стихов и поддержала бы... Ваше мнение очень значительно для нас потому, что мы знаем и любим Вас как поэта, а верить в критическую неразбериху московских поэтов мы не можем».

В другом письме, которое Дмитрий Кедрин пишет уже только от своего имени, мы находим следующее: «Многие из этих стихов уже недороги мне, написаны давно, и я остыл к ним. Вообще чувствую, что несовершенства в них достаточно, серьезности и мысли мало. Некоторые очень несамостоятельны: сказывается влияние многих и особенно Ходасевича — моего любимого поэта... Простите, что посылаю так много стихов, не удержался в границах приличия» (16 декабря 1928).

Сохранилось еще одно письмо молодого Кедрина, где есть такие строки: «Получил Вашу открытку и посылаю Вам мои стихи... Некоторые посылать, пожалуй, и не стоит: «К музе», например, «В море», «Пирушка». Но увлекся, переписал... Вы их не читайте. В остальных, почти в каждом, есть какой-нибудь промах. Некоторые из этих промахов я знаю, но исправить сейчас не могу. Вообще же смотрю на эти стихи, как на начало моей литературной работы. В одном уверен твердо: менять идейное и формальное направление моих стихов не стану. Совершенствовать их — другое дело».

В предлагаемом издании к стихам из волошинского архива относятся: «Зимний вечер», «Гравюра», «Кувшин», «Сумерки», «Детство», «Грешник», «Мастер», «Пой и веруй!», «Прекрасна полнокровных дев...», «Звезда взошла, как кровь...»

Из ранних стихов Дмитрия Кедрина хочется отметить два — «Казнь» и «Куклу». О «Казни» в свое время в личной беседе с М. Голодным высоко отозвался В. Маяковский, а кедринскую «Куклу» Максим Горький заставил читать В. Луговского на встрече членов правительства с литераторами, которая состоялась в октябре 1932 года.

С горьким чувством жил и трагически погиб тридцативосьмилетний Дмитрий Кедрин, незадолго до смерти оставив такую запись в своем дневнике: «Я не вижу своего читателя, не чувствую его. Итак, к сорока годам — жизнь сгорела горько и совершенно бес-

смысленно. Вероятно, виною этому та сомнительная профессия, которую я выбрал или которая выбрала меня: поэзия.

Время, однако, показало, что не зря Кедрин выбрал такую профессию: у него появилось много читателей, их с каждым годом становится все больше, книги его не залеживаются на прилавках, его стихи читаются с эстрады, драма «Рембрандт» идет во многих театрах страны, его именем названы три улицы — в Днепропетровске, в Донецке и в подмосковном поселке Черкизове. Невольно приходит на память стихотворение Дмитрия Кедрина «Уголек», где так провидчески он предсказал свое будущее:

**Минуют дни незаметно,
Идут года не спеша...
Как искра, ждущая ветра,
Незримо зреет душа.**

**Когда налетевший ветер
Раздует искру в пожар,
Слепые люди заметят:
Не зря уголек лежал!**

Самое удивительное, что это стихотворение написано в октябре 1941-го — трагического и рокового, «Ибо уже при дверях», — написал на книге В. Ходасевича «Путем зерна» Дмитрий Кедрин. В это страшное время к нему вдруг пришла прозорливая и твердая уверенность в том, что он жил не зря, что его «прекрасное взойдет». Эта мысль пришла под звук несмолкающей канонады, когда немцы были в двадцати семи километрах от Москвы, когда, по словам Кедрина, «...решалась общая Судьба, моя судьба, твоя судьба, Россия!».

СТИХОТВОРЕНИЯ, ПОЭМЫ

«ПОГОНЯ»

Балаган — театральное зрелище на ярмарках и народных гуляниях.

«ИСПОВЕДЬ»

Ксендз — священнослужитель в католической церкви.

Месса — богослужение в католической церкви.

Панна — обращение к девушке в Польше.

«МОСТ ЕКАТЕРИНОСЛАВА»

Горн — печь для плавки металла.

«РАЗГОВОР»

Трехпробное вино — (пробное вино) — узаконенной пробы, доброты, крепости.

Малага — виноградное вино.

«ПЕСНЯ О ЖИВЫХ И МЕРТВЫХ»

Стены Варшавы, камыши Сиваша — места боев Красной Армии во время гражданской войны.

«ВЗЛОХМАЧЕННЫЙ, НЕМЫТЫЙ И СЕДОЙ...»

Борисфен — древнегреческое название реки Днепр.

Десница — рука.

Руслан — герой поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила».

«ГРЕШНИК»

Обитель — монастырь.

«МАСТЕР»

Калиф (халиф) — верховный правитель на Востоке.

«ГРАВИЮРА»

Свинцовая рама — в средние века оконные рамы делали из свинца.

«СЧАСТЛИВАЯ ВСТРЕЧА»

Лира — денежная единица в Турции.

Скутари — город в Греции.

Проказа — заразная болезнь.

Гяур — название немусульман на Востоке.

«ПО ШВЕДСКОЙ МОДЕ КАПИТАН...»

Бриг — парусное судно.

Ют — кормовая надстройка судна.

«КАЗНЬ»

Тоуэр — средневековый замок, крепость в Лондоне.

Джордж Гордон Байрон — английский поэт.

Шелли Перси — английский поэт.

«КРЕМЛЬ»

Марат — один из вождей якобинцев во время Великой французской революции.

Тюильри — королевский дворец в Париже.

Санкюлот — бедняк, во время Великой французской революции так называли революционеров.

«ПРЕКРАСНА ПОЛНОКРОВНЫХ ДЕВ...»

Вакхический — относящийся к празднествам в честь бога вина.

«ПРОШЕНИЕ»

Поручик — младший офицерский чин в русской армии.

Тать — вор, разбойник.

Разменять — расстрелять.

«ГИБЕЛЬ БАЛАБОЯ»

Шкуро — атаман Шкуро — один из организаторов контрреволюции в гражданскую войну на юге России.

Молочко от рябого бычка — в смысле ничего не получит.

Атаман Гнида — вымышленный персонаж.

Ментик — короткая куртка, опушенная мехом.

Крона — денежная единица в ряде западных стран.

«Единая, Неделимая Россия» — лозунг контрреволюции в гражданскую войну.

Фридрихштрассе — улица в Берлине.

«АФРОДИТА»

Лорнет — очки в оправе с ручкой.

Вальцовка — машина с вальцами для получения готовых деталей или заготовок.

Коринфская колонна — один из видов архитектурного оформления зданий.

Ниобея — персонаж греческой мифологии.

«Даная» — картина голландского живописца Рембрандта.

Дюрер Альбрехт — немецкий живописец.

Джотто — Джотто ди Бондоне — итальянский живописец.

Гойя Франсиско — испанский живописец.

Олимп — священная гора.

Моховая — улица в Москве, ныне — проспект Маркса.

Скопас — древнегреческий скульптор.

Пракситель — древнегреческий скульптор.

«Дискобол» — статуя метателя диска.

Афродита — богиня любви и красоты.

Винчи — Леонардо да Винчи — итальянский живописец, скульптор, ученый, архитектор.

«Джноконда» — картина Леонардо да Винчи.

«КУКЛА»

Покровский бульвар — улица в центре Москвы.

«ЛЮБЕЗНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ! ВЫ МРАК, ВЫ ЗАГАДКА...»

Экспедиция Сибирякова — экспедиция в 1932 году по Северному морскому пути.

Скапен, Гарпагон — персонажи пьес Мольера, французского драматурга.

«Дели» — марка папирос.

«ПОЕДИНОК»

Стволы роковых Лепажа — перефразировка строки из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина.

Мамонтовка — дачный поселок под Москвой.

Мосторгин — название существовавших в СССР в 30-е годы магазинов.

Содом — город, погрязший в распутстве, в библейской мифологии.

Гарпия — крылатое чудовище с девичьей головой в греческой мифологии.

Узилище — тюрьма.

Иуда — апостол, предавший Христа.

«РАСПУТИН»

Арки Растрельины — Растрелли Варфоломей — русский архитектор.

Фомка — воровской инструмент.

«СЕРДЦЕ»

Саламата — кисель, жидкая каша из любой муки.

«КОФЕЙНЯ»

Саади — персидский поэт и мыслитель.

«Диван» — сборник стихов.

Падишах — властитель, монарх в некоторых странах Востока.

«ПОДМОСКОВНАЯ ОСЕНЬ»

Морошка — северная болотная ягода.

Ягдташ — охотничья сумка.

«КРОВЬ»

Корчма — постоянный двор, трактир.

Гайдамаки — участники народно-освободительного движения на Украине.

«ПЕСНЯ ПРО СОЛДАТА»

Чумак — украинский возчик рыбы, соли и др.

«ЗЯБЛИК»

Лучок — приспособление для ловли птиц.

«В ПАРКЕ»

Валек — деревянный брусок для полоскания или катания белья.

«АРХИМЕД»

Сиракузы — древнегреческий город.

«1941»

Сотник — офицерский чин в казачьих войсках.

Колодник — арестант, закованный в колодки.

Владимирка — дорога из Москвы во Владимир, по которой гнали арестантов.

«НЕТ!»

Татарская басма — националисты в Средней Азии.

«СТАРАЯ ГЕРМАНИЯ»

Бурши — студенты.

«РОДИНА»

Андреевская звезда — орден Андрея Первозванного в царской России.

Пенник — крепкое хлебное вино.

Лабаз — амбар, сарай.

«КОЛОКОЛ»

Тигль — сосуд из огнеупорного металла для плавки.

«КРАСОТА»

Винчианских — Леонардо да Винчи — итальянский художник, скульптор, ученый, архитектор.

«ХОЧЕШЬ ЗНАТЬ, ЧТО ТАКОЕ РОССИЯ...»

Ливония — территория современной Латвии и Эстонии, завоеванная в XIII веке немецкими рыцарями.

Татарка (татарник), донник — трава.

«КЛАДЫ»

Данциг — бывшее название города Гданьска.

«ОКТЯБРЬСКАЯ БИТВА»

Двадцать восемь — 28 героев-панфиловцев приняли в ноябре 1941 года бой с немецкими захватчиками под Москвой.

Альт — низкий голос у мальчика.

«ДУМА О РОССИИ»

Пожар — старинное название Красной площади.

Иван Великий — колокольня Московского Кремля.

Федька Конь — московский зодчий и строитель.

Белый город — район в центре старой Москвы.

Баян — певец, сказитель.

Тевтоны — германские племена.

«КИЕВ»

Киево-Печерская Лавра — мужской монастырь.

Олег — князь Киевской Руси.

Богдан Хмельницкий — гетман Украины.

Тарас — Тарас Григорьевич Шевченко — украинский поэт, художник.

Вий — персонаж произведения Н. В. Гоголя.

Крещатик — улица в Киеве.

Аскольдова могила — часть парка на правом берегу Днепра.

Владимирская горка — место на берегу Днепра.

«ТАКОЙ ТЫ МНЕ ПРИВИДЕЛАСЬ КОГДА-ТО...»

Кустодиев Борис Михайлович — русский живописец.

«ПОБЕДА»

Бунчук — символ власти атамана или гетмана на Украине, в Польше.

«БЫЛ СЛЕП ГОМЕР И ГЛУХ БЕТХОВЕН...»

Демосфен — афинский оратор.

«ЗОЛОТО»

Сусаль — пленка из металла, имитирующая золото.

Божница — шкаф для размещения икон.

«ЦЫГАНКА»

Разводы — проверка готовности караулов к несению службы.

«НОЧЬ ПОЗЕМКОЮ ЧАСТОЙ...»

Шамиль — руководитель освободительной борьбы горцев.

Газават — священная война мусульман против иноверцев.

Кунак — побратим.

«КАК МУЖИК ОБИДЕЛСЯ»

Калиныч — Михаил Иванович Калинин — советский государственный деятель.

«БЫВАЛО, В ДЕТСТВЕ Я В ЧУЛАН ЗАЛЕЗУ...»

Афон — гора в Греции.

Десть — единица счета писчей бумаги.

Фриштык — завтрак.

«ЗОДЧИЕ»

Вельми — очень.

Посконная — из домотканого холста.

Смерды — крестьяне, земледельцы в Древней Руси.

Зане — так как, потому что.

Пагода — буддийское мемориальное сооружение.

Богомаз — иконописец.

Тороватый — расторопный, ловкий.

Кружало — кабак, питейный дом.

Правеж — принуждение к уплате долгов в России.

Черная Орда — очевидно, Черная Русь, как называли воеводство Новгородское.

Лобное место — возвышение на Красной площади, где читали царские указы и приговоры.

Лепота — красота.

Храм Покрова — храм Василия Блаженного.

Обжорный ряд — место дешевых харчевен в Москве.

«Государево слово и дело!» — система политического сыска в России.

«ПЕСНЯ ПРО АЛЕНУ-СТАРИЦУ»

Швивая улица (Швивая горка) — ныне улица Володарского.

Зипун — старинная верхняя крестьянская одежда.

Показать острастку — наказать.

Заструг — нос челна, ладья.

Алексей — царь Алексей Михайлович.

Кика — старинный русский головной убор.

Волчье солнышко — луна.

Кат — палач.

Опара — заправленное дрожжами или закваской тесто.

Стрельцы — особое постоянное войско в России в XVI—XVII вв.

Зарядье — район старой Москвы,

«ПРИДАНОЕ»

Тус — родина Фирдоуси.

Фирдоуси — великий персидский и таджикский поэт.

Шах — титул монарха в некоторых восточных странах.

Сераль — гарем.

Одалиска — наложница.

Бурнус — верхняя одежда арабов.

«СВОДНЯ»

Феб — второе имя бога Аполлона.

Петрополь — Петербург.

Петергоф — Петродворец, город под Ленинградом.

«Сикстинская мадонна» — картина Рафаэля, итальянского живописца.

Сладон — любитель ухаживать за женщинами.

Волкан — огонь, пламя.

Венера — богиня любви и красоты.

Фрондер — человек, высказывающий недовольство чем-то.

Камер-юнкер — младшее придворное звание в России.

Кронверкский вал — место казни декабристов в Петропавловской крепости.

Цепи Гименея — супружество.

Фрески Тьеполо — Тьеполо Джованни — итальянский живописец.

Лоджии Ватикана — здание в Ватикане, папской резиденции.

Альбион — Англия.

Версаль — пригород Парижа.

Ганимед — юноша необыкновенной красоты.

«СОЛДАТКА»

Волостная управа — орган местного крестьянского самоуправления.

Кубовый — синий, яркого густого оттенка.

Бессемер — сталелитейная печь.

ОСНОВНЫЕ ИЗДАНИЯ Д. КЕДРИНА

«Свидетели». М., «Худ. литература», 1940.

«Избранное». М., «Сов. писатель», 1947.

«Стихотворения и поэмы». М., «Худ. литература», 1959.

«Красота». М., «Худ. литература», 1965.

«Избранное». М., «Худ. литература», 1969.

«Избранные произведения». Л., «Сов. писатель (Биб-ка поэта),
1974.

«Избранные произведения». М., «Худ. литература», 1978.

«Избранная лирика». Л., «Детская литература», 1979.

«Стихотворения, поэмы». М., «Московский рабочий», 1982.

«Чистый пламень». М., «Современник», 1986.

СОДЕРЖАНИЕ

Дмитрий Кедрин 5

ЛЮБОПЫТСТВО

(1924—1932)

Затихший город	16
Погоня	17
Исповедь	18
Мост Екатеринослава	20
Крылечко	22
Смертник	22
Разговор	23
Тени	25
Песня о живых и мертвых	25
«Вздохмаченный, невытый и седой...»	27
Сумерки	28
Грешник	29
Мастер	30
Зимний вечер	30
Кувшин	31
Гравюра	32
Ночью	32
Счастливая встреча	33
Пасхальное	35
«По шведской моде капитан подстриг...»	36
Казнь	37
Кремль	43
Портрет	44
Детство	45
Пой и веруй!	45
«Прекрасна полнокровных дев...»	46
Прошение	47

«Звезда взошла, как кровь...»	48
«Пускай беды зловещие зарницы...»	49
Гибель Балабоя	49
Строитель	51
Афродита	52
Китайская любовь	56
Кукла	58
«Любезный читатель! Вы мрак, вы загадка...»	61

ЗРЕЛОСТЬ
(1933—1945)

Поединок	64
Ад	66
Двойник	67
Бродяга	68
Распутин	70
Сердце	71
Кофейня	72
Соловей	73
Подмосковная осень	74
Песня про папа	75
Кровь	76
Страдания молодого классика	77
Беседа	79
Горбун и поп	81
Песня про солдата	82
Бессмертные	83
«Прощай, прощай, моя юность...»	84
Зимнее	84
Глухарь	86
Пластинка	87
Зяблик	88
Остановка у Арбата	89
Клетка	90
Осенняя песня	91
Бабка Мариула	92



Ночь в убежище	93
Осень 41-го года	94
Глухота	94
Погода	95
Жилье	95
Девочка в противогазе	96
Бабье лето	97
Полустанок	97
Уголек	98
В парке	99
Следы войны	99
Архимед	100
Грипп	101
Солдат	102
«Это смерть колотит костью...»	102
1941	103
Не печалься	105
Хлеб и железо	106
Нет!	106
Старая Германия	108
Природа	108
Бог	109
Родина	110
Колокол	111
Красота	112
«Хочешь знать, что такое Россия...»	113
«Я не знаю, что на свете проще?..»	114
«Скинуло кафтан зеленый лето...»	114
Клады	115
Аленушка	115
«Россия! Мы любим неяркий свет...»	116
Завет	117
Октябрьская битва	118
Дети	119
Днепропетровск	120
Дума о России	123
Убитый мальчик	125

Фюрер	125
Мороз на стеклах	126
Ночной плач	127
После войны	127
«Вот и вечер жизни. Поздний вечер...»	128
Кукушка	129
Киев	129
Узел сопротивления	131
Кот	132
«Оказалось, я не так уж молод...»	133
Цыганка	133
«Какое просторное небо!...»	135
Победа	136
«Был слеп Гомер и глух Бетховен...»	137
«Ты говоришь, что наш огонь погас...»	137
Золото	137
«Такой ты мне привиделась когда-то...»	138
«Ночь поземкою частой...»	138
Задача	140
Как мужик обиделся	141
«Все мне мерещится поле с гречихою...»	143
Мышонок	144
«Месяц однорогий...»	145
Я	146
«Нам, по правде сказать, в этот вечер...»	146
Приглашение на дачу	147
«Бывало, в детстве я в чулан залезу...»	148

ПОЭМЫ

Зодчие	152
Песня про Алену-Старницу	157
Приданое	160
Сводня	166
Солдатка	170
Примечания	174
Стихотворения, поэмы	177
Основные издания Д. Кедрина	186

Кедрин Д. Б.

К 33 И минуло время / Предисл. Н. Банникова. — М.: Мол. гвардия, 1989. — 190[2] с. — (В молодые годы).

ISBN 5-235-00532-5

Поэзия Дмитрия Кедрина давно и заслуженно стала нашей классикой. Любители поэзии знают, что стихи Кедрина — это и огромная культура, и яркое поэтическое мышление, и обостренное чувство любви к Родине, к отечественной истории. Поэт прожил недолгую жизнь (1907—1945 гг.), и, по сути, все его творчество приходится на молодые годы. И все же эта книга дает возможность увидеть, каким ярким и запоминающимся было начало творческого пути Дмитрия Кедрина.

К 4702010202—069 — 208—89
078(02)—89

ББК 84Р7

ИБ № 6447

Кедрин Дмитрий Борисович

И МИНУЛО ВРЕМЯ

Заведующий редакцией **Г. Зайцев**
Редактор **П. Калина**
Художественный редактор **Т. Погудина**
Технический редактор **Н. Носова**
Корректоры **Н. Хасая, Н. Овсяникова**

Сдано в набор 29.09.88. Подписано в печать 14.12.88.
Формат 70×108^{1/32}. Бумага типографская № 1. Гарнитура
литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 8,4. Усл. кр-
отт. 10,15. Учетно-изд. л. 7,9. Тираж 50 000 экз. Цена 70 коп.
Зак. 9—52.

Набрано и сматрицировано в типографии ордена Трудового
Красного Знамени издательско-полиграфического объединения
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». 103030, Москва, К-30, Сущев-
ская, 21. Заказ 2327.

Отпечатано на полиграфкомбинате ЦК ЛКСМ Украины «Мо-
лодь» ордена Трудового Красного Знамени издательско-поли-
графического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».
252119, Киев-119, Пархоменко, 38—44.

ISBN 5-235-00532-5

70 коп.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ